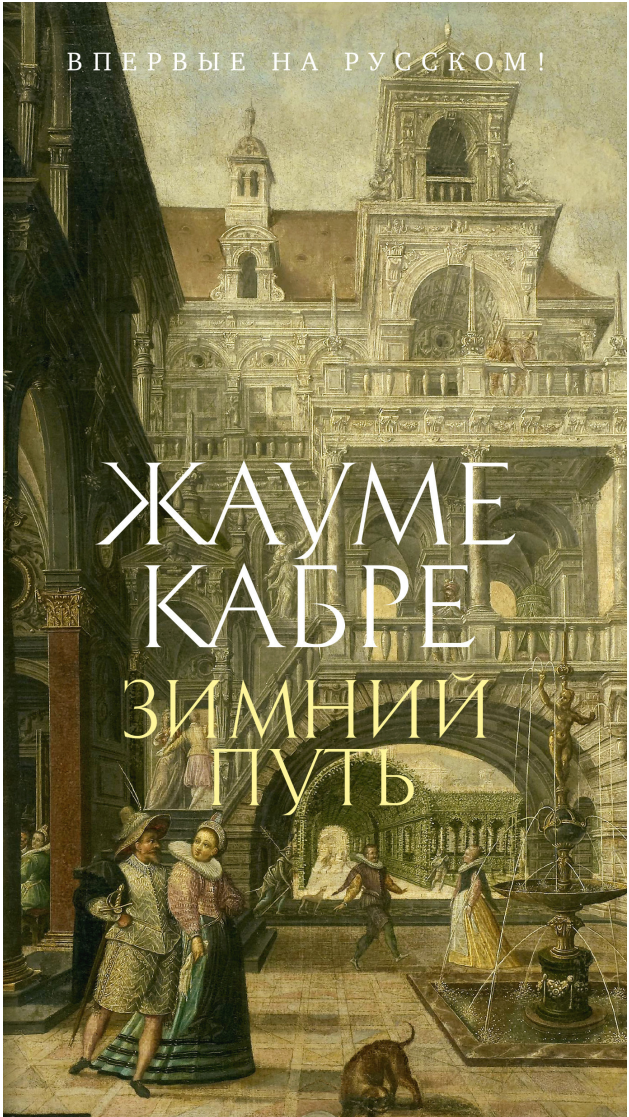
ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ!



ЖАУМЕ КАБРЕ

ЗИМНИЙ ПУТЬ

Жауме Кабре

Зимний путь

Серия «Большой роман (Аттикус)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70100164
Зимний путь: Иностранка, Азбука-Аттикус; Москва; 2024
ISBN 978-5-389-24649-2

Аннотация

Какие сны снятся тому, кто двенадцать лет не получал писем в тюрьме? Какая мудрость таится в книгах, которые никто не прочел? Какие судьбы рушатся на могилах знаменитых композиторов? Какую музыку слышит убийца, какую – безумец, какую – тот, кто больше не хочет или не может быть великим музыкантом? В «Зимнем пути» будут разочарованные пианисты, которые не боятся разочаровать публику, бессердечные мошенники и неисправимые меломаны, киллеры и рогоносцы, одна героическая лошадь, ватиканские функционеры, ускользнувшая любовь, а также Иоганн Себастьян Бах, написавший невозможный «Контрапункт», Франц Шуберт, чей цикл «Зимний путь» пронизывает всю эту книгу от начала до конца, и великий Рембрандт, создавший портрет удивительной судьбы. Амстердам, Вена, Треблинка, Париж и Осло, Каталония и Израиль, Ватикан и Босния; век номер XVII, XX, XXI перемешаны и тем ярче, тем обманчивее мерцают.

Жауме Кабре (р. 1947) – крупнейшая звезда каталонской литературы, обладатель многочисленных премий; его книги переведены на десятки языков, их тиражи превышают миллион экземпляров. Его сборник «Зимний путь», получивший престижную каталонскую литературную премию *Crítica Serra d'Or* (2001), – истории отчаянных, а порой отчаявшихся людей, что во весь голос, или себе под нос, или вообще за кулисами поют каждый свою песню, и все звучит полифоническим каноном, невероятным контрапунктом, поклоном Баху, Шуберту, невозможной музыкой, которую никто, кроме Кабре, не напишет.

Впервые на русском!

Содержание

Посмертный опус	6
Завещание	28
Надежда в руках	39
Пара минут	59
Пыль	71
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Жауме Кабре
Зимний путь

© А. С. Гребенникова, перевод, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023 Издательство Иностранка®

* * *

Маргариде

Посмертный опус

Девицы Редерлейн не без мучений продержались до Э 12, так как играл их учитель. Э 15 обратил в бегство двухжилетного франта.
Э. Т. А. Гофман[1]

Он крутанул стул, потому что тот оказался низковат. Хотя полчаса назад установил все как положено. Нет-нет, теперь слишком высоко. Да еще пошатывается, представляешь? Черт бы его побрал. Вот так. Не так. Так. Он достал из кармана пиджака платок и вытер потные ладони. А заодно обмахнул платком чистейшую клавиатуру, как будто и она вся взмокла от замешательства. Поправил манжеты. На мне живого места нет. В горле пересохло, весь будто изодран колючками до крови, а сердце только и ждет, чтобы разорваться на куски по множеству причин. Не хочу, чтобы руки дрожали. Справа мертвенный холод зала. Туда он старался больше не глядеть: вдруг он вовсе не обознался, когда, кланяясь, случайно взглянул на человека, сидящего в первом ряду. Без сомнения, он ошибся. В противном случае следовало бы немедленно положить всему конец. Какая-то дама кашлянула. Потом где-то в глубине зала звучно прокашлялся мужчи-

[1] «Музыкальные страдания капельмейстера Иоганнеса Крейслера»; из цикла «Крейслериана» (1810–1815) Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822), перев. П. Морозова. – *Здесь и далее примеч. перев.*

на, и это напомнило ему, насколько огромен концертный зал. Это ничего, справа не происходит ничего, там ничего такого нет. Всего лишь лед, враг, смерть. Стул, на сантиметр назад.

На самом верху, в третьем ярусе, за несколько часов от сцены, неразличимые в полумраке зала, страдали глаза цвета янтаря и меда, ведь уже целых четыре минуты Пере Броз тщился стереть с ладоней страх, и публика битком набитой филармонии, безмолвно следящая за каждым его движением, мало-помалу приходила в волнение.

Пере Броз снова поправил манжеты. Пустота справа влекла его к бессмысленному саморазрушению, но он не поддался. Две большие капли пота скатились со лба и на миг затуманили взгляд, а на галерке глаза цвета янтаря и меда залились слезами сострадания к злополучному Пере, разве они не видят, как он терзается, почему не понимают, что мучают его. Броз снова достал платок и протер глаза. Закрыл лицо руками, изо всех сил стараясь избавиться от странного видения, представшего ему, когда он вышел на поклон, и ничего не приходило ему на ум, одна лишь смерть. Он сделал два глубоких вдоха, и зазвучали таинственные первые аккорды сонаты D 960[2]. По залу пробежал озноб смятения, как так можно, почему он начал с заключительного произведения, когда в программе сказано… Он что, сбрендил, зачем все ставить с ног на голову? а янтарные глаза сосредоточенно

[2] D 960, Соната для фортепиано № 21 си-бемоль мажор, написанная Францем Шубертом в 1828 году.

внимали сокровенному размышлению о смерти, даже не подозревая, что Вешшеленьи сказал, что в жизни нет ничего более трогательного, чем эта соната, они внимали сокровенному размышлению о смерти, написанному человеком, который привык плакать в си-бемоль мажоре.

По истечении сорока двух минут тринадцати секунд уже никто в зале не задавался вопросом о том, зачем пианист начал с заключительного произведения, все они внимали и внимали с открытой душой. Когда угасла последняя нота, Пере Броз простер руки над клавиатурой, подобно демиургу, являющему чудную силу, и в первый и последний раз за свою карьеру получил в награду десять, пятнадцать бесконечных секунд тишины. Тут он расслабил плечи и опустил руки в полном изнеможении, и зал взорвался аплодисментами. Пере Броз встал, посмотрел направо, в ту сторону, откуда веяло могильным холодом, и в самом деле увидел его снова: он сидел в первом ряду, в затейливых круглых очках, широколобый, кудрявый, экстравагантно одетый, в седьмом кресле справа, в смертном безмолвии, и глядел на пианиста в упор, из вечности слыша, как люди самозабвенно аплодируют, и, вероятно, осуждая его за посредственное исполнение. В холодном поту Пере Броз удалился со сцены под восхищенные возгласы публики. Вернувшись на сцену и склоняя голову в благодарность за рукоплескания, он внезапно подумал, что всамделишный Шуберт как две капли воды похож

на свой портрет с обложки «Voyage d'hiver»[3], его скрупулезной, но спорной биографии авторства Гастона Лафорга, изданной в начале двадцатого века. Уходя, как полагается, за кулисы, он размышлял о том, что, по мнению Лафорга, все три сонаты 1828 года, не изданные при жизни автора, были написаны в лихорадке тщеславия, когда Шуберт узнал, что Бетховен скончался и путь свободен. Его ладони покрылись потом, как будто он все еще играл. Он снова вышел на поклон, и ему захлопали еще громче. Я больше не могу играть. Пусть Шуберт уходит. Пусть его выгонят из филармонии. Господи Боже, я не в силах перед ним играть. Он поклонился. И подумал о том дне в Вене, на Грабене, когда за чашкой дымящегося шоколада обожаемый Золтан Вешшеленьи сказал ему, помилуй, Петер, какая, к черту, лихорадка. Шуберт оставил наброски, черновики, сомнения, исправления и множество вопросов касательно трех сонат: лихорадка здесь ни при чем. (Шоколад был такой горячий, что Вешшеленьи обжег себе язык. Какой он все время рассеянный, какой он все время грустный, мой Золтан.) Шуберт знал, что делал, Петер; он знал, что размышляет о собственной смерти. Особенно в сонате D 960.

– Парень, ты просто гений. Хотя и сукин сын, – выпалил Пардо, выпихивая его снова на поклон.

Когда он вернулся, рукоплескания все еще не смолкли, но Пере Броз сухо сделал знак распорядителю, что больше не

[3] «Зимний путь» *(фр.)*.

выйдет, чтобы тот закрыл дверь.

– Я не хочу больше играть концерты.

– Всего один концерт, тринадцатого декабря. Полный зал. На что тут жаловаться?

– Я пошел в гримерную, – ответил пианист, как будто вся беда была именно в этом.

– К тебе пришли. Мадам Гроссман.

– Я не хочу никого видеть.

– Это же мадам Гроссман.

– Я сказал, никого.

– Какого дьявола ты стал играть не в том порядке?

– После концерта пусть меня у входа ждет такси.

– И не мечтай. После концерта мадам Гроссман и интервью.

– Нет, говорю тебе, такси.

– А я говорю, что ты сукин сын.

В andante sostenuto сонаты D 960 смерть приближается из дымки над Дунаем, издалека, она все ближе и страшнее, и в исполнении Пере Броза трехминутную тему пронизывала непрестанная тревога, нарастая в постепенном крещендо, которое выдержать в силах лишь золотые руки с алмазом в каждом пальце. А при повторе темы в зале воцарилось безмолвие такой силы, что он чувствовал, как дышат деревянные панели на стенах. Исключительно, единственно по этой причине он только усмехнулся в ответ Пардо и направился в гримерную, а обиженный импресарио поплелся за ним. Пи-

анист хлопнул дверью у него перед носом: как он смеет так обращаться со мной, ведь без меня он как без рук, без головы, без памяти!

Пере Броз налил себе бокал «Вдовы Амбаль», как будто это был самый что ни на есть обычный концерт и ничего особенного не произошло. Однако слез сдержать не смог. Он подошел к стоявшему у стены фортепиано и нежно погладил клавиши. Отпив еще глоток, Броз сел за инструмент и в глубоком отчаянии опустил голову. Тут пианист увидел бандероль, которую ему доставили прямо перед выходом на сцену. Срочная авиадоставка, из Вены. Он в нетерпении вскрыл пакет. Великолепное издание. Он увидел на обложке венскую францисканскую церковь, в которой Фишер тридцать три года служил органистом. И посвящение Золтана: «Пере Брозу, чьи уверения в том, что четверть века спустя мое исполнение сонаты D 960 кажется ему непревзойденным, подарило мне величайшую в жизни радость. От автора, у которого недостало мужества продолжать бесчеловечную карьеру пианиста. Да пребудут с нами образы любимого Шуберта и великого Фишера. Твой друг Золтан Вешшеленьи».

Он отхлебнул еще шампанского и устремил взгляд в прошлое.

* * *

Золтан Вешшеленьи наигрывал си-бемоль, ля, ре-бемоль,

си, до на старинном фортепьяно в здании архива, откуда не выходил с утра до ночи с тех пор, как стал печальным. Вот он еще раз сыграл мелодию Фишера и подошел к окну. На улице венское небо разразилось внезапным, совершенно неуместным средиземноморским ливнем.

– Что это такое?

– Главная тема.

– Подожди, но ты же сказал, что Фишер умер в тысяча восемьсот двадцать восьмом году?

Вместо ответа музыковед указал на рукопись. Она пожелтела от времени, но отлично сохранилась. Партитура была сделана чисто, каллиграфически тщательно. Странная музыка, написанная с большой любовью. Броз поразился тому, как эту соль-мажорную сарабанду можно было сочинить из такой необычной мелодии. Или, может быть…

– Здесь нет ключевых знаков. В какой она тональности?

– Не знаю. Это не тональная музыка. И не модальная.

– Не может быть.

– Нет. Так оно и есть.

– Звучит очень красиво.

– Невероятно. У меня в голове не укладывается, как ему удалось такое написать во времена Моцарта и Бетховена.

Структурное развитие темы состояло из двух частей длиной в шестнадцать тактов, каждая из которых представляла собой сарабанду из четырех музыкальных фраз по два такта, начинавшихся с той же странной мелодии. Все было без-

упречно, мастерски построено.

Оба друга долго молчали, слушая нестройное звучание дождя. Отдельные капли ливня настойчиво стучали о какую-то забытую на земле железяку, и пронзительно раздавался до-диез. От этого становилось не по себе.

– Настоящая сенсация, – заключил Броз, проведя полчаса за чтением семи вариаций.

– Такую находку мне бы хотелось опубликовать как можно скорее. Фишер, никого не задевая, перешагнул через Брамса и Вагнера, превзошел Малера и опередил Шёнберга. Он хотел обновить музыку, пока она еще не изжила себя.

– Однако сам обнародовать свои творения не решился.

– Его, должно быть, ужасала мысль о том, что скажут люди.

– И все же партитуру он не уничтожил. – Тут Пере Броз посмотрел другу в глаза. – А вдруг это фальшивка? Тебе не приходило в голову, что кто-то решил над тобой подшутить?

– Сначала я так и подумал и отправил рукописи в лабораторию: все тщательно проверили, бумага и чернила того времени, без всякого сомнения.

– Можно я это сыграю?

На прощание, под уже потемневшим небом, Пере признался другу, что до сих пор со слезами на глазах вспоминает его блистательное исполнение шубертовской сонаты D 960 в Консерватории, и чуть слышно прошептал ему на ухо, Золтан, дорогой мой, зачем ты прекратил выступать, ты, луч-

ший на свете пианист? А? Зачем, ведь ты был моим идеалом?

Пере крепко обнял его, будто этим объятием хотел сказать гораздо больше. Вешшеленьи высвободился, улыбнулся и сказал, что поделаешь, так уж вышло. И чтобы перевести разговор на другую тему, обещал, что пришлет ему книгу о Фишере срочной бандеролью в любую точку мира, как только она выйдет из печати. Если Пере согласен ее прочитать и поделиться впечатлениями.

* * *

Пере Броз налил себе еще бокал «Вдовы Амбаль». Кто-то нетерпеливо долбил в дверь гримерной. Он не ответил. Сидя за фортепьяно, он снова наигрывал си-бемоль, ля, ре-бемоль, си, до. Прошло три года со дня той встречи в венском архиве, но он не забыл ни мелодии, ни ее развития. Тут дверь широко распахнулась, поддавшись решительному и бесцеремонному толчку. Делая неимоверное усилие, чтобы не взорваться, побагровевший Пардо закрыл ее за собой.

– Что за шутки? Гроссман говорит… она хочет сама тебе сказать, что ничего на свете не пожалела бы, чтобы научиться играть, как ты. – Он оживился. – Ты произвел на нее впечатление, и этим нужно воспользоваться.

– Скажи ей, что я жизни не пожалел, чтобы научиться так играть.

– Нет-нет-нет, что ты. Нет. – Быть рассудительным стоило Пардо такого труда, что голова раскалывалась на части. – Я пытаюсь убедить Гроссман, чтобы за гастроли во Франции она платила нам вдвое больше. Это тебе не шуточки: будь с ней полюбезнее.

– Пошли ее подальше. Кстати, я после антракта не выйду.

Пардо поглядел, сколько осталось в бутылке, взял у него из рук бокал и ровным голосом сказал:

– Я это уже десять раз слышал. Хватит шутки шутить. На всех на вас, артистов, перед выступлением мандраж находит.

– Пока не дойдешь до точки. А я сегодня уже дошел до точки.

– Ты играл великолепно.

– Я умирал великолепно.

Ему хотелось поведать о своей печали. Хотелось кричать о ней во весь голос. Только не перед Пардо. Ему хотелось уехать в Вену, чтобы сказать, решено, Золтан, хватит колесить по свету, хватит раздумывать о том, что могло бы быть; я наконец сделал выбор между музыкой и тобой. И я выбрал тебя, невзирая на твое равнодушие и невзирая на долгие часы занятий и труда, которые пойдут теперь прахом; невзирая на сладость похвал, на аплодисменты и почести. Что-то в этом роде он хотел ему сказать. И чтобы тот ответил ах, как я рад, Петер.

– Зачем ты начал с последней сонаты? – не унимался Пардо.

– Не знаю. Само так вышло. Как будто это конец. Мне было очень… – И слегка изменившимся голосом он продолжал: – Там в первом ряду сидел Шуберт. На седьмом месте.

На этих словах Пардо вернул ему бокал.

– Уж лучше выпей. Только не напивайся. Не забудь, что к тебе пришла мадам Гроссман с подругой. Запомни: пусть удвоит гонорар. А журналист пусть завтра приходит.

– Я же тебе сказал, что я ухожу со сцены…

– Для успеха весеннего концертного турне нужно уладить пару пустяков и постараться сделать так, чтобы тебе не являлись призраки, чтобы ты доигрывал концерты до конца, умел мило улыбаться мадам Гроссман и вежливо принимал ее комплименты.

– Можешь ей от меня передать, чтобы шла в жопу.

– Если ты не выйдешь на сцену после антракта, клянусь, меня инфаркт хватит.

Они уставились друг на друга, и за двадцать секунд перед обоими пролетели годы трудностей, нескончаемых турне, перепалок, заработков, счастливых дней и слез, связавших их судьбы. Пардо указал на дверь и вкрадчивым тоном произнес, впусти ее, ладно?

Пере Броз брезгливо отвернулся, а Пардо, бледный от гнева, вышел из гримерной, закрыл за собой дверь и, широко улыбнувшись двум сгорающим от нетерпения дамам, штрихами, достойными Данта, стал расписывать им, как беднягу Броза сразил приступ язвы желудка. В это время в гример-

ной несчастный больной налил себе еще шампанского. Его рука дрожала. Уже тридцать восемь лет, с тех пор как в девятилетнем возрасте он начал заниматься у мадемуазель Труйольс, – а сейчас поднимавшему полный бокал «Вдовы Амбаль» минуло сорок семь, – у него дрожали руки. Он выпил за свое здоровье, за долгие часы, проведенные за инструментом для того, чтобы всегда быть идеальным, божественным, чувствительным, человечным, превосходным, сильным, убедительным, потрясающим, тонким, нежным, совершенным: постоянно, постоянно, постоянно и постоянно. Столько лет бесполезной долбежки, никому не нужной, потому что теперь, в крошечной комнатке, перед зеркалом, обрамленным тысячей лампочек, не доиграв концерта, он решил все бросить. Столько занимался, а Шуберта боюсь. Пусть его уведут, прошептал он по секрету своему верному другу бокалу. Пусть его выгонят отсюда. Он не имеет права!

Антракт подходил к концу, и Пардо тихо вошел в гримерную и уселся в ожидании взрыва. Однако Броз даже не удостоил его взглядом: он молча пил. Тогда импресарио перешел в атаку:

– Поверить не могу, что ни с того ни с сего твоя ноша стала неподъемной.

– Не ты же ее несешь, а я. – Тут Броз повысил голос. – А Шуберта ты видел?

– Нет в этом зале никакого Шуберта! Я лично проверял, клянусь тебе.

– Значит, он вышел в вестибюль выкурить сигарку. Я не в силах играть, когда он меня слушает.

– Ты не можешь бросить музыку!

– Я музыку не брошу. Просто перестану выступать.

– Послушай, завтра обсудим, выходить ли тебе на пенсию, и сделаем как скажешь… Но сегодня… Ты обязан доиграть. И пообщаться с Гроссман.

– Не буду.

– Так все и бросишь, посреди антракта?

– Ну да. Мне даже заниматься теперь тяжело, я каждую минуту думаю о том, как страшно выходить на сцену. Я не выношу такого напряжения. Я никогда не выносил такого напряжения.

– У тебя всегда все отлично получалось. Всегда! – И умоляющим тоном: – Неужели этого мало?

– Музыка для меня – путь к счастью. А я уже давным-давно не чувствую себя счастливым, выходя на сцену. И сегодня…

– Да кто тебе сказал, что в музыке есть счастье? – возмущенно перебил его Пардо. – Мне она тоже счастья не приносит, и ничего, терплю.

Броз поглядел ему в глаза: в них не было насмешки. Но тут заметил, что импресарио, который шампанского терпеть не может, наливает себе бокал, и понял, зачем он это делает.

– Не беспокойся, я не напьюсь. Мне нужно принять решение на трезвую голову.

Уяснив, что этот срыв не похож на все прочие, Пардо оставил при себе заранее припасенные ругательства и упреки. Сделал вид, что отпил глоток шампанского, и больше к бокалу не прикасался. Пианист молча смотрел, и Пардо начал загибать пальцы: во-первых, ты ничего не умеешь делать, кроме как выступать.

– Я мог бы отдохнуть. Мог бы преподавать.

– Во-вторых, о преподавании ты не имеешь ни малейшего представления; ты ни разу не зарабатывал себе на жизнь уроками; у тебя никогда не было терпения, чтобы давать уроки.

Пока Пардо загибал третий палец и обобщал следующий пункт, Броз подумал, это неправда, он некоторое время давал уроки своей соседке, девушке очень милой и очень… даже и не знаю, но очень.

– Ты уверена, что я вам не мешаю, когда занимаюсь?

– Да что вы! Мы только рады. Когда ты… когда вы… в общем, мы с мамой… даже и не разговариваем, чтобы не упустить ни звука. А ведь мы с ней болтушки. – И чуть тише она добавила: – А вот когда вы уезжаете, становится грустно.

– Зато вам без меня гораздо спокойнее. Я сейчас как раз уеду на пару недель.

– Не уезжайте.

– Не уезжать?

– Нет, понимаете…

Девушка с глазами цвета живого, драгоценного янтаря взглянула на него и подумала, почему же этот человек, та-

кой… такой… даже не догадывается о ее существовании.

– Не беспокойся: когда я вернусь, мы дополнительно позанимаемся и наверстаем пропущенное.

– Нет, я не о том. Просто…

– У тебя есть способности. Но поищи себе лучше другого учителя. Организованного, такого, который умеет преподавать системно. Я очень…

– Я хочу быть… то есть заниматься… с вами. Только с вами. Всегда.

Его единственная ученица. Как-то раз ему было очень грустно и одиноко, и он признался ей, как мучается перед каждым концертом: она все поняла, молча глядя на него янтарными глазами, и не осмелилась взять его за руку. Странные эти занятия, нерегулярные, но насыщенные, длились года три. А закончились, когда он переехал на другую квартиру и думать забыл и о девушке, и об уроках. До сегодняшнего дня. Как же ее звали?

Тут задребезжал звонок, и Пардо поднялся, очень скованно, продолжая объяснять, что, в-пятых, должно же у профессионалов быть чувство ответственности, и кстати, подумай о нашей давней дружбе – как же нам дальше быть, если ты так со мной поступишь, и вообще, тебе давно надо было жениться, ты бы и успокоился. Завершив речь, он как бы невзначай заметил:

– Первый звонок. Пора бы…

Броз сделал жест, который мог значить что угодно. Пардо

понял так, что он согласен, сдается, уступает. И вышел из гримерной, чтобы не стоять над душой.

Пере Броз знал номер телефона Musikwissenschaftzentrum наизусть, столько раз он открывал записную книжку и долгие минуты думал, не знаю, имею ли я право вмешиваться, но теперь, после смерти его Анны, я… и столько раз набирал номер и бросал трубку, не давая возможности секретарше сказать, чем я могу вам помочь, герр Броз.

– Я хотел бы переговорить с герром Вешшеленьи. Срочно.

Его нет на месте, ей очень жаль. Но принимая во внимание срочность дела, она дала ему номер мобильного телефона, и Пере настиг его на другом конце Вены. Каким-то отсутствующим голосом друг сказал, привет, Петер, чем я могу тебе помочь, и Пере ответил, нет-нет, я просто хотел поблагодарить тебя за книгу о Фишере. Я ее только пролистал, но сразу видно, что это шедевр. И умолк, чтобы дать собеседнику время поинтересоваться, как у него дела. Но Вешшеленьи, задавший вопрос исключительно из вежливости, молчал.

– Я не могу играть, – в конце концов признался Пере Броз, – и не играть я тоже не могу. – Последовало неловкое молчание. – Я часто думаю о тебе. Мне очень грустно, Золтан.

Он с нестерпимой болью заметил, что Вешшеленьи держит дистанцию, и подумал, почему ты всегда так холоден, Золтан. И, чтобы вызвать его на разговор, добавил:

– Я уже целых полгода не сплю от тоски и хочу отдохнуть.

Помнишь, ты мне говорил…

Ответ Золтана застал его врасплох: тот предлагал обсудить это в другой раз, и Пере пришел в отчаяние оттого, что друг не понимает, что ему это необходимо или сейчас, или никогда. И еще раз попытался заставить его отреагировать:

– Ты мне сказал, брось музыку, если она не дает тебе быть счастливым.

– Послушай, давай потом созвонимся, ладно?

В судорожной попытке отыскать хоть какую-нибудь зацепку, чтобы не прекращать разговор, Пере выпалил:

– Мне привиделся Шуберт.

– Шуберт?

Замешательство на другом конце провода было слишком долгим; настолько долгим, что Пере почувствовал себя униженным и сдался.

– Ну хорошо, хорошо, – отрывисто пробормотал он.

– Позвони мне попозже, да?

– Золтан, не забывай, что я люблю тебя. Всем сердцем.

Он положил трубку, чтобы не отчаяться, услышав равнодушный ответ, и подумал, какая нелепая штука жизнь: за тысячу километров от моих гостиничных номеров, от моих заветных мечтаний, живет мой любимый человек и все это время даже не подозревает, как он мне нужен. Он осушил бокал шампанского и с обреченным видом стал дожидаться второго звонка.

Второй звонок застал Пардо за прощанием с Гроссман.

Освободившись, он вернулся в гримерную, готовый в случае необходимости выволочь из нее Броза силком. Гримерная была пуста, похоже, Пере все-таки решил сбежать. С перепугу Пардо ощутил неизбежное приближение пятидесяти инфарктов, он перепугался еще сильнее и выбежал вон, сам толком не понимая, собирается ли догнать и убить пианиста или же пасть на колени перед кем бы то ни было и молить о прощении за невыполнение оказавшихся невыполненными обязательств. Раздался третий звонок, и зал взорвался аплодисментами. Это его удивило. Он подошел к двери и, приоткрыв ее, невзирая на протесты администратора, заглянул в щелочку. Публика еще ломилась в зал, удивляясь, почему все так спешат. Пере Броз уже вышел на сцену и раскланивался с закрытыми глазами. Пардо, немного успокоившись, подумал, что неплохо было бы, наверное, съездить в отпуск. Все шло как по маслу, кризис миновал, и он удалился в уголок с мобильным телефоном, чтобы назначить точную дату, когда этот псих Броз будет выступать в Ватикане.

Ах, что же, что это такое? – заволновались янтарные глаза. Си-бемоль, ля, ре-бемоль, си, до. Это вовсе не Шуберт. Через пару секунд после начала сарабанды по залу стал распространяться ропот, в котором слышалось, говорил я тебе, у него не все дома, совсем слетел с катушек; кто-то обиженно заметил, знал бы, что тут начнется авангард, вообще бы не пришел: надул он нас; другой пробормотал: ты узнаешь эту мелодию? ведь тут, в программе, сказано… Эй, я сюда

пришел послушать три сонаты Шуберта 1828 года! А в третьем ярусе янтарные глаза застыли от ужаса, ведь возмущенный человек, который говорил, что Броз сошел с ума, был, вероятно, прав. Он обезумел от напряжения, никто не знал об этом, кроме нее, она хранила сладостную тайну, о, как бы ей хотелось ему помочь. Из боковой ложи раздался было свист, но кучке благоразумных друзей удалось унять бурю. Броз уже перешел ко второй вариации, глядя в раскрытую книгу Вешшеленьи, как в партитуру. Тут до Пардо, обсуждавшего по телефону возможные дни и часы с таинственным и никому не ведомым ватиканским епископом, монсеньором Вальцером, внезапно дошло, какая музыка уже некоторое время доносится до его ушей, и сердце его сжалось оттого, что никакого сукин сын Броз, черт бы его побрал, играет не Шуберта. Поток брани несколько озадачил ватиканского собеседника, единственной целью которого было подтвердить, что пианист сможет выступить на концерте для узкого круга избранных в зале Святой Клары. Да-да, к вашим услугам, господин епископ.

Вариация первая: никогда, никогда не слыхивал ничего подобного. Эта тема не меняет гармонический план и не модулирует в другую тональность. Это… Mein Gott[4], я никогда бы не подумал, что можно так писать музыку. Различные гармонизации темы сплетались с мелодическим варьированием гармоний. Как необычно. Нет ни тоники, ни привыч-

[4] Боже мой *(нем.)*.

ных мажора, ни минора, есть только музыка, подвешенная в воздухе, mein Gott. Уродливое, причудливое совершенство. Постой… а где мои сонаты? Что же он не играет первую сонату 1828 года?

Вариация вторая: знатоки, собравшиеся в зале, переглядывались все чаще и беспокойнее, а из тринадцатого ряда партера кто-то ясно и отчетливо пробасил, не знаю, что нам играет этот парень, но он точно играет у нас на нервах.

Вариация третья: три человека встали с мест. В четвертом и восьмом ряду партера. Некоторое время они стояли неподвижно, в знак протеста против неуважения к Шуберту. Их смелый шаг подхлестнул еще семерых или восьмерых любителей музыки в разных концах зала, они тоже встали и на несколько мгновений как будто превратились в депутатов величественного парламента, где подсчет голосов ведется по старинке. Однако Пере Брозу не было дела до голосования, его всецело занимала сложнейшая четвертая вариация, сочиненная на четыре голоса с имитациями, похожая на паспье[5]. Значительная часть депутатов требовала тишины в зале и обращалась к коллегам по парламенту с просьбой не валять дурака и сесть на место, красиво же человек играет. Хорошо, пусть не Шуберта, но очень красиво.

К началу пятой вариации члены правления филармонии вызвали импресарио Броза на совещание в вестибюле 2А,

[5] *Паспье* – старинный французский танец, несколько быстрее менуэта, но в остальном имеющий с ним немало общего.

чтобы обсудить, что это за фокусы, и, пока они обсуждали, началась седьмая вариация, довольно короткая, совершенно виртуозная, подводящая итог всем предыдущим, наконец, просто блистательная, ее несомненно стоило послушать.

– Кто-нибудь знает, что это за музыка?

– Что-то неизвестное. Но гениальное.

– Я как-то слышал похожую пьесу Берио[6].

– Да ну, еще чего. Это Лигети[7]. Не знаю, что именно, но уверен, что Лигети.

– А вы, Пардо? Вы нам ничем не можете помочь?

– Что же мне делать? Выйти на сцену и оттаскать его за уши?

– Ты думаешь, это Лигети, да?

– Да, или кто-то вроде него.

– В суд на него подам. За нарушение условий контракта.

– Что с вами, Пардо? Вы плохо себя чувствуете?.. Ух, прямо на ровном месте… Звоните в «скорую», быстрее.

– Господи, ну и денек.

По окончании последней вариации Лигети или кто-то вроде него снова вернулся к основному мотиву, как будто желая мягко и деликатно подшутить над слушателями, и сказка кончилась тем же, чем и начиналась. И под конец пять

---

[6] *Лучано Берио* (1925–2003) – итальянский композитор, один из основных представителей европейского музыкального авангарда.

[7] *Дьёрдь Лигети* (1923–2006) – венгерский и австрийский композитор и музыковед.

нот главной темы, обнаженных, болезненных, и тишина.

Пере Броз встал, бледный от решимости и утомления. Однако в присутствии Шуберта было в тысячу раз проще играть что угодно, кроме Шуберта. Теперь он осмелился взглянуть на него повнимательнее. И тут же увидел, что человек в кресле под номером семь, то есть Шуберт, вскочил и восторженно зааплодировал. Однако в зале царила тишина. Франц Шуберт хлопал ему, широко улыбаясь, и Броз заметил, что у него не хватает зуба. В зале все еще было тихо. Вдруг из третьего яруса, с самого верху, раздались янтарные аплодисменты, восторженные и нежные одновременно, как будто слушателю, кто бы он ни был, хотелось поддержать невидимого и неслышимого Шуберта или бесстрашного Фишера, а может быть, и сумасшедшего пианиста. Понемногу начали хлопать тут и там, как будто нерешительно накрапывал дождик, перед тем как обрушиться на землю ливнем, и наконец вскочили все присутствующие в зале. Броз потряс книгой, на которой большими буквами было напечатано имя Фишера, удостоверился в том, что Шуберт не перестает аплодировать, и навсегда ушел со сцены, не оглядываясь назад.

Завещание

Стук кайла по каменной плите казался ему бессмысленно жестоким. Надгробия заранее не заготовили: смерть всегда застигает врасплох. Особенно если покойная никогда не болела. Ведь это ему, а не ей нездоровилось, это он долгие месяцы скитался по врачам! Он, а не Эулалия воображал, что жизнь на исходе! Это он всю неделю терзался, сдавая всевозможные анализы, страшась, что его болезнь неизлечима! Почему же умерла Эулалия, как судьба допустила такую нелепую ошибку?

Могильщики завершили свое дело, и в окружении родных и близких Агусти почувствовал себя безумно одиноким. Эулалия – смысл моих дней, моих желаний, ты лучезарно улыбалась, ты так старалась меня понять, ты всегда была рядом, милая моя, отдаваясь без остатка и ничего не требуя взамен, любимая. Тут он отвлекся, потому что Амадеу отошел в сторону и с привычной любезностью, почти незаметно, положил сложенную купюру в пять тысяч песет в ладонь прораба, а тот что-то пробормотал в благодарность.

Вдовец попытался произнести прощальную речь. Объяснить всем присутствующим, что Эулалия озаряла его жизнь, и немногими словами отдать скудную дань негасимой любви. Но только раскрыл рот, как залился слезами. Амадеу нежно положил ему руку на плечо, давая понять, что он не оди-

нок в своей печали. Тут несчастный увидел, что все трое детей стоят с ним рядом, ошеломленно наблюдая, как навсегда скрывается под грубым камнем последнее, что осталось от матери, скоропостижно скончавшейся в пятьдесят лет. Вся семья была вместе. И Агусти невольно задумался о том, как хорошо они прожили двадцать восемь лет, как долго мечтали о ребенке и уже почти отчаялись, когда наконец Эулалия неожиданно зачала и появился на свет их первенец Амадеу… И снова долго-долго ждали, пока не родилась Карла. Вскоре после ее рождения супруги впервые сильно поссорились из-за его чрезмерно пылкого увлечения одной молодой женщиной, совсем не похожей на Эулалию; но все встало на свои места, и, как будто в знак примирения, когда Карле уже исполнилось пять, у них появился Сержи, младшенький, его любимец. Агусти взглянул на сына: у пятнадцатилетнего подростка недоставало сил, чтобы смириться со смертью матери, и он опирался на руку сестры. Карла всегда была для отца загадкой: как только ей исполнилось восемнадцать, дочь переехала жить во Флоренцию, а потом в Мюнхен и за два года прислала родителям ровно шесть открыток, в которых писала, что живет хорошо и передает всем привет, а теперь, пару месяцев назад, вернулась, как будто подгадала, чтобы ненароком не опоздать на материнские похороны. Карла утверждала, что собирается пойти учиться в Автономный университет, что поступает на факультет истории искусств, но отец был уверен, что главной причиной ее возвра-

щения к ним была несчастная любовь. Не переезд это был, а побег. За два года она невероятно похорошела. Да она и с детства была красавицей: даже трудно было поверить, что у него могла родиться такая дочь. Агусти не знал, сколько мужчин было у нее в жизни, – Карла была для него загадкой. А старшего, Амадеу, сейчас больше заботило то, как чувствует себя его беременная жена, чем последние штрихи погребального обряда; отец втихомолку завидовал его здравому смыслу. Вот и сейчас сын умело помог ему избавиться от нескончаемых доброжелателей, толпившихся вокруг, чтобы принести соболезнования. Агусти и сам толком не заметил, как уже шагал по тропинке к машине, под ногами поскрипывали камешки, а в душе ныло странное чувство вины оттого, что он оставил Эулалию одну, никому теперь не нужную, забытую. Но сейчас ему предстояло самое трудное: научиться существовать без нее, заставить Сержи поверить, что оба они вполне способны жить дальше вдвоем, без мамы.

– Приходите к нам обедать, – предложила невестка.

– Нет, спасибо. – Как бы оправдываясь, он добавил: – Нам нужно привыкать самим готовить. Правда, Сержи?

– До свиданья, папа. – Карла легонько чмокнула его в щеку.

Ему стоило больших трудов не настаивать, чтобы она не уходила, не говорить, что он болен, что именно сегодня днем получит результаты половины анализов, что умирает от страха и без Эулалии ему не на кого рассчитывать, кроме

нее…

– Доченька, если тебе что-нибудь понадобится…

– Мне? Нет… – И в своем стиле: – Я тебе буду звонить, ладно? – Уже пободрее она потрепала брата по голове, ероша ему волосы: – Пока, Сержи.

Отец был рад, что не стал клянчить. Но после обеда предстояло идти к врачу, хоть с Карлой, хоть без Карлы; тут уж ничего не попишешь.

Из дома Агусти вышел слишком рано и так торопился поскорее услышать о своей участи, что очутился у ворот больницы на час раньше, чем был записан на прием. И не терпится тебе, дураку, подумал он, узнать, когда истекает твой срок годности. До смертного приговора оставался целый час, и, чтобы убить время, больной направился к Венскому кафе, думая, Эулалия, если бы ты была со мной, мы бы болтали о всякой всячине, не имеющей отношения к болезням, и мне бы стало гораздо легче… Это такая несправедливость. Чудовищная несправедливость думать, как мне ее не хватает, а не о том, что она стынет в царстве тьмы. Тут ему бросились в глаза плакаты на здании Фонда культуры, и, заинтересовавшись выставкой, он совсем забыл, что шел пить кофе, и его печаль ненадолго утихла.

В комнате преобладали насыщенно-желтые тона, и взгляд невольно притягивало окошко справа, не потому, что в этой точке сходились все параллельные линии созданного на плоскости пространства, а скорее, оттого, что оттуда в ком-

нату врывались дерзкие, яркие лучи солнца, освещавшего каморку и старика. Философ, как следовало из названия картины, сидел за круглым столом, покрытым скатертью, и читал непомерной величины и мудрости книгу, пользуясь тем, что из окна льется солнечный свет, с тех самых пор как Рембрандт изобразил его на полотне четыре столетия назад. Борода доходила философу до середины груди, и весь он излучал безмятежность и покой, все в нем говорило, я здоров, я не записан на прием к врачу, который должен сообщить мне страшное известие, и никто у меня не умер. С другой стороны от окна в той же самой комнате просматривалась лесенка, чтобы по ней спуститься из этой башни слоновой кости в мир спешки, болезней и неожиданной кончины бедной моей милой Эулалии. На первом плане скорее угадывался, чем виднелся шкаф, полный таких же толстых книг, как та, что на столе. Отчего я не родился таким философом?

На выставке было двадцать шесть картин, которые Национальная галерея Осло возила по разным европейским городам, чтобы показать, чем богата, и привлечь в Норвегию побольше туристов. На несколько счастливых минут он забыл о том, что его ждет страшный диагноз, что Эулалию не вернуть, что Карле с ним скучно, Сержи льет бунтарские слезы, а Амадеу все молчит… и думал только о том, какое счастье жить в окружении такой красоты. Пять или шесть раз он совершенно не нарочно возвращался к портрету философа и пристально на него глядел, как будто стараясь выяс-

нить, откуда на самом деле берется мудрость. И настолько увлекся, что потерял счет времени: взглянув наконец на часы, Агусти понял, что уже опаздывает к врачу. Он опрометью выбежал из здания, чуть было не сбил с ног инспектора дорожно-патрульной службы, бодро развешивавшую штрафы по лобовым стеклам неправильно припаркованных машин, и примчался в больницу, задыхаясь от страха, что в наказание его, опоздавшего на семнадцать минут, заставят еще двадцать четыре часа мучиться неизвестностью, и, не успев еще перевести дух, подлетел к администратору и выпалил, что записан к врачу. К какому врачу. К тому, который должен сообщить мне день и час моей смерти. Пройдите на третий этаж.

Ему пришлось подождать минут десять в обществе двадцати с лишним незнакомцев, тоже ожидавших своей участи, возможно, с тем же ужасом. Посещение выставки в здании Фонда культуры придало ему сил, и Агусти дал себе обещание, что, каким бы ни был результат анализов, сегодня вечером он посидит немного с Сержи, посмотрит с ним телевизор, а дня через два или три сводит его в кино. Ради любви к ребенку, ради любви к Эулалии. И уже потом, когда никого рядом не будет, вдоволь наплачется: мало-помалу ему становилось ясно, как безжалостно впивается когтями в сердце человека беспощадное одиночество.

– Присаживайтесь, пожалуйста.

Он сел напротив женщины-врача, ни взглядом, ни словом

не упрекнувшей его за опоздание. И как дурак уставился на карандаш, торчавший из кармана ее белоснежного халата, словно в нем заключались все ответы на терзавшие его вопросы. Медбрат, очень волосатый парень с постоянно сверкающими глазами, оставил на столе какие-то конверты, в которых, решил Агусти, таилась его судьба. Конверты глухо шлепнулись на стол со звуком, внезапно напомнившим ему стук кайла по каменной плите на могиле Эулалии. И чтобы еще больше отравить пациенту жизнь, волосатый стал шептать что-то не предназначенное для его ушей врачу на ухо, а та пару раз кивнула, подождала, пока медбрат не скрылся за дверью, на существование которой Агусти до этого момента не обращал внимания, помедлила еще две, три, четыре секунды, потом сняла очки и вперила в него полный жалости взгляд голубоватых глаз. Агусти решил, что все это означает, ты больше полугода не протянешь. И то в мучениях.

– Перед нами чрезвычайно странный случай, сеньор…

– Ардевол, – без промедления отчеканил пациент в надежде, что она поглядит на конверт, осознает свою ошибку и дружески с ним распрощается. – Агусти Ардевол, – уточнил он.

Однако это не помогло: в руках у врача оказался конверт, на котором четко и ясно значилось «Агусти Ардевол», она достала из него какие-то бумаги, пробежалась по ним глазами, и ему стало ясно, что эта женщина перечитывала их уже в тридцатый раз. Бедняга стал думать о том, как Сержи оста-

нется сиротой, без отца и без матери… И о Карле, хотя с болью понимал, что его смерть ее не слишком огорчит… И об Амадеу, который возьмет на себя все хлопоты, как человек немногословный и здравомыслящий… Как он любил своих детей! А говорил им об этом, кажется, очень редко. Видимо, не было у него привычки с ними откровенничать, однако он всем сердцем их любил. Видя, что врач все еще колеблется, не в силах терпеть, на грани истерики, несчастный вскричал:

– Доктор, говорите же, не томите! Сколько лет мне осталось жить? – И, видя, что та молчит, беспощадно, но мужественно поправил себя: – Сколько месяцев?

– Простите, я не совсем вас поняла.

– Как же, я думал… – Тут Агусти немного растерялся. – Тогда что со мной?

– Нет-нет… Ничего страшного, сеньор Ардевол, не стоит волноваться, хорошо? – ответила врач, снимая очки. – Вы практически здоровы.

Агусти откинулся назад, на спинку стула, вне себя от ужаса. То ли она решила над ним поиздеваться, то ли вместо нескольких лет, месяцев, дней ему оставалось жить всего несколько часов и медики решили, что лучше ему сойти в могилу в блаженном неведении… Эулалия, любовь моя… Если за гробом хоть что-нибудь есть, хотя, конечно, ничего там нет, скоро мы встретимся там. До той поры я черпаю силы в воспоминаниях о твоей любви, а то давно бы умер от разрыва сердца. Дети мои, ваш отец сделает все возмож-

ное, чтобы достойно прожить последние минуты, чтобы не померкла память о том, что я был таким же прекрасным человеком, как мама. Дети мои, я люблю вас.

Вдруг до него донесся голос терапевта; женщина простыми словами объясняла ему, что́ было обнаружено в результате бесконечных анализов: тут все в порядке, там все в порядке; прочла ему достаточно суровую нотацию касательно трансаминаз, об опасности плохого холестерина, о необходимости вести умеренный образ жизни, меньше курить и пить, есть овощи в большом количестве, и тогда он перебил ее и из глубин отчаяния взмолился:

– Значит, я не умираю?

Вместо ответа врач задала другой вопрос, как будто отбивая мяч теннисной ракеткой:

– Скажите, у вас есть жена и дети?

– Дело в том… – Ему впервые приходилось об этом говорить, и для начала пришлось набрать воздуха. – Моя супруга скончалась позавчера. От инсульта. – И, как бы извиняясь, он добавил: – Сегодня мы ее похоронили.

– Вот так штука… – Она сняла очки. – Примите мои соболезнования.

– Спасибо.

– У вас трое детей, не правда ли?

Сколько же раз она снимала эти очки, подумал Агусти, а между тем отвечал, да, у меня трое детей; я вообще не помню, чтобы врач их надевала, такое ощущение, что у нее в за-

пасе тридцать или сорок пар очков, на случай если нужно будет сообщить что-нибудь важное. Вот и сейчас женщина опять сняла очки и пристально всмотрелась голубыми глазами в лицо недоверчиво уставившегося на нее Агусти.

– Дело в том, что… Трудно в это поверить, но результаты анализов… – продолжала она, размахивая одной из бумаг, – не оставляют сомнений.

– Послушайте, доктор… – Тут он собрался с силами, чтобы прийти в себя, и решил немного разрядить обстановку. – По правде вам сказать, раз уж я не умираю… говорите мне что хотите, больше мне нечего бояться, с любым известием я справлюсь без труда.

Врач поглядела на него, как будто сомневаясь, не слишком ли расхрабрился пациент. Потом вздохнула, взглянула на часы, висевшие на стене позади Агусти, и решила больше не тянуть.

– Как я вам уже говорила, – женщина выпустила из рук бумагу, чтобы та плавно приземлилась на стол прямо перед ним, сняла очки, да, снова их сняла, и, пристально глядя на него, сказала, у нас не остается ни малейших сомнений, что результатом осложнения… с тех пор как вы переболели паротитом… в тяжелой форме… Тут врач снова взяла лист в руки, и Агусти наконец заметил, что, перед тем как читать, она надевает очки, – …когда вам было… пятнадцать лет, стало бесплодие.

Не зная, куда себя девать от неловкости, врач сняла очки и

положила их на стол. Звук отозвался в ушах Агусти, как стук кайла по каменной плите на могиле Эулалии. Он раскрыл рот и подумал… И ничего не смог подумать, потому что настало время смириться с тем, что не одна только смерть, но и вновь дарованная жизнь может оказаться немыслимо жестокой.

Надежда в руках

Не говори мне, что я обманут, что солнце не купается в море.
Фелиу Формоза[8]

– Хочу увидеть, как солнце садится в долине Сау[9].

– Охота ради такой ерунды жизнью рисковать.

– Я в молодости из самой Саксонии туда вернулся. Тосковал по дому.

– Дурная голова ногам покою не дает.

– Ага. Сау меня всегда к себе манит.

Палящее солнце нещадно жгло макушки, но им обоим хотелось постоять под ним подольше и пошептаться, выливая вонючие нечистоты, делая вид, что дерьмо прилипло к ведрам и его приходится соскабливать, чтобы никому даже в голову не пришло заподозрить их в том, что под жарким солнцем они ведут беседу. Олегер и вправду тосковал по пустынным пейзажам Сау. Но тревожило и тянуло его туда не это, а желание узнать, почему Селия ему не пишет. Среди тараканов и крыс вот уже двенадцать лет он каждый день, каждый час, каждую минуту ждал письма, а его все не было…

---

[8] *Фелиу Формоза* (р. 1934) – каталонский поэт, драматург и актер.

[9] Долина Сау расположена на полпути между Монтсенем и Пиренеями, к югу от высокогорья Кольсакабра. В настоящее время заповедник, входящий в состав района (комарки) Осона.

– Ты понятия не имеешь, какие у нас в Сау закаты, – ответил он Тонету, чтобы случайно не проговориться, что на уме у него только Селия.

– Сдались мне твои закаты. Никуда я не побегу. А то поймают и убьют на месте и спрашивать не будут, куда собрался. Так что считай, что я тебя не слышал. Ничего не знаю и знать не хочу. – И он удалился со своим ведром, уже пустым, но от этого не менее вонючим. Олегер поднял голову, несколько обескураженный, и увидел, что на него смотрит брезгливо скривившийся солдат со свежей веточкой тимьяна в зубах, презирающий мерзких тварей, прозябающих в тюрьмах славного короля Фернандо.

Шесть лет назад, в первый раз готовясь к побегу, Олегер Гуалтер и не думал ничего скрывать и все без утайки рассказал Массипу, которого выбрал в напарники, а тот, пожевывая сухую травинку, заявил ему, очень хорошо, только выброси-ка ты из головы эту дрянную девчонку.

– Не смей ее так называть. Кто знает, отчего она мне не пишет.

– Не пишет, потому что в гробу тебя видала.

– Нет-нет: наверное, у нее забот невпроворот. Вдруг она вышла замуж, вдруг у нее куча детей, и…

– Болван ты, – отрезал Массип. – И все же я дорого дал бы, чтобы иметь дочку и тосковать по ней. Да еще и грамотную. А про побег забудь. Больно рисковое это дело.

Тогда Олегеру Гуалтеру пришлось скрепя сердце отка-

заться от своей затеи, потому что в одиночку ему было не справиться; он понимал, что сможет ее воплотить только с Массипом, единственным соузником, ради которого он дал бы отрубить себе руку. Любой другой заключенный, узнав о намерении бежать, немедленно донес бы на него начальнику тюрьмы в надежде выгадать себе какую-нибудь мелкую поблажку: угодив за решетку, начинаешь до такой степени терять человеческий облик, что совести в тебе не остается.

Странная штука жизнь: семь месяцев спустя Массип сам пришел к нему, умоляя поделиться с ним планом побега, потому что другого выхода у него не оставалось. В то время у них была возможность поговорить на прогулке, потому что тогдашний начальник разрешал им ненадолго выходить на свет божий, хоть это и вызывало молчаливое негодование солдат гарнизона и злобных надзирателей.

– Придется лезть наверх в темноте. План все тот же.

– Согласен. Отличный план.

Три ночи подряд, тайком от сокамерников, они не спали, наблюдали и пришли к выводу, что около полуночи, во время смены караула, в тюрьме все спят и им удастся залезть на крышу при помощи веревки, которую он свил из соломы, ошметков надежды и недюжинного запаса терпения. Оттуда нужно будет спрыгнуть, если, конечно, их в последнюю минуту не парализует страх – здание-то высотой с двух рослых мужчин, – и пусть даже со сломанной ногой, превозмогая боль, бежать, хоронясь на чужих сеновалах, и так добрать-

ся до леса, а там, если на них не натравят собак, можно считать себя в относительной безопасности. Массипу, который семь месяцев назад недоверчиво поморщился и заявил, чтобы это сработало, необходима изрядная доля везения, пришлось признать, что других вариантов нет. Прошло уже три дня с тех пор, как его привели в кабинет начальника тюрьмы и зачитали ему приговор. Тут он наложил в штаны и помчался на поиски Олегера, чтобы осведомиться у него, послушай, как там насчет нашего плана, давай-ка поговорим.

– Придется лезть наверх в темноте. План все тот же.

– Согласен. Отличный план, – ответил Массип. – Составлю тебе компанию, и чем раньше, тем лучше, – добавил он.

Тогда Олегер решил, пусть это будет первая же ночь, когда пробьет двенадцать и лунные лучи не озарят мглу бледно-желтым светом. Подождем пять дней, Массип. Но почему-то Массипа решили казнить на несколько дней раньше, и все пошло прахом: Олегер распрощался со своими замыслами, а Массип – с жизнью. Несчастный унес Олегерову тайну в жалкую могилу узников его величества Безумного короля по имени Фернандо, по счету Шестого, по фамилии Бурбона.

Вот почему, поминая беднягу Массипа, сейчас он не стал рассказывать Тонету ни о чем, кроме того, какие в Сау прекрасные закаты. Тонет, с ведром дерьма в руке, покосился на него и поминай как звали. В раздумьях обо всем об этом Олегер решил прекратить подпирать стену тюремного двора и перешел на место, освещенное уже заходящим солнцем,

где некого было смущать безумными идеями. Доверять он не доверял никому, но раз уж выбрал себе в спутники Тонета, то ничего не поделаешь, пусть будет Тонет, такой же низкорослый и сухощавый, как и Массип. Чтобы убить время, которого всегда было слишком много, Олегер принялся думать о Селии, о тех, кого на свете уже не было, о мастере Николау и о долинах Австрии и Саксонии, таких же причудливых, как и язык, ставший ему почти родным за шесть или семь проведенных там лет. А когда вспоминать стало больше невмочь, начал придумывать, как усовершенствовать план побега, которым он когда-то поделился с Массипом. Он знал, что после полночной смены караула большинство часовых ложились прикорнуть: происшествий в тюрьме не случалось никогда, а тьма была такая кромешная, что ходить по двору, не проваливаясь в бесчисленные наскоро зарытые ямы и канавы, было невозможно. Надзиратели и понятия не имели, что за двенадцать лет глаза Олегера, выцветшие скорее от горя, чем от недостатка дневного света, так приноровились к темноте, что видел он ночью не хуже кошки. А еще они не знали, что его путь лежит не через двор, как можно было бы ожидать, а по крыше, где шагу нельзя ступить во мраке, не сломав себе шею. Почему же она мне не написала хотя бы раз? Один только раз!.. За первые семь месяцев он отправил ей семь писем. Когда бывший начальник тюрьмы съязвил, что сразу видно, отвечать она не собирается, Олегер на время перестал писать. Из страха показаться смешным? Нет-нет: чтобы ее

не беспокоить. Но через несколько месяцев снова послал ей несколько коротеньких записок с мольбой, доченька, Селия, пошли мне хотя бы весточку, что ты жива, что все в порядке, что ты замужем, что у тебя есть дети, что ты меня не забыла… Лист бумаги, а на нем, здравствуй, папа. Не прошу ничего больше, здравствуй, папа; я этого хочу больше всего на свете, Селия.

Потом сменили начальника тюрьмы и поставили этого треклятого Роденеса, самозваного барона, все счастье которого заключалось в любовании тем, как слабеют тела его подопечных в наказание за проступки, из-за которых они угодили за решетку. Прогулки по двору отменили и снова навязали им монашеский обет безмолвия, ишь, распустились. В то время и письма писать запретили, а что ты думаешь, Королевская почта должна с ног сбиться, исполняя твои прихоти? Закон не надо было нарушать. Так прошли шесть или семь лет, в каждодневном ожидании письма от Селии. Вот почему, а вовсе не из-за закатов в долине Сау, которые он толком и не помнил, Олегер дал себе зарок бежать из казематов его величества.

Когда ему было семь лет, его отец, перебравшийся из Сау в Барселону, отдал его в ученики к органному мастеру Николау Салтору. Знать бы тогда отцу, что знакомство с мастером Салтором обернется для его отпрыска пожизненным заключением, когда ему стукнет сорок, что, прогнив изнутри и снаружи, он будет ждать верной смерти в камере жесточай-

шего в королевстве острога, взял бы он сына и увез бы его с собой обратно в глухомань. Но такова судьба: никогда она тебе не скажет всей правды, а только часть и лицемерным смешком приправит, чтобы сбить тебя с толку.

Вышло так, что, не ведая о будущих ударах судьбы, Олегер тут же показал себя в мастерской Салтора с лучшей стороны. Недолго проходил он в подмастерьях. А к пятнадцати годам уже был правой рукой мастера, целиком полагавшегося на его тонкий слух в кропотливом деле настройки органных труб: кончиками пальцев он чувствовал прикосновение металла, дерева и войлочной ткани, умом проникал в тайны сложнейшей механики чуда органного звука и во всевозможные способы изготовления превосходных устройств нагнетания воздуха. Он начинал видеть жизнь через призму многообразия звуков органа и, сам того не зная, был почти счастлив.

У него даже челюсть отвисла от изумления, когда на следующий день, снова вынося помои, Тонет сказал ему, давай, да, я согласен, надоело мне на параше сидеть. Только для начала объясни мне все подробно.

Пришлось подождать перерыва. Отойдя от всех подальше, под жарким солнцем, чтобы никто их не беспокоил, он рассказал, обливаясь потом и не вытирая стекающих со лба капель, что вот уже двенадцать лет, с самого первого утра, проведенного в тюрьме, он хранит ключ от камеры. Это был подарок судьбы: кто-то из надзирателей уронил его в кори-

доре, и незаметно для всех ключ отскочил от пола и каким-то чудом закатился в камеру, прямо к его ногам. Олегер спрятал его в соломе, толком не зная, какой в нем прок, а тюремщики после бесплодных поисков замок менять не стали, просто заказали новый ключ. А несколько месяцев спустя, терпеливо наблюдая за надзирателями, он заподозрил, что ключик его подойдет и к замку на двери в конце коридора, ведущей на чердак, откуда через дымоход можно попасть на крышу. Все эти двенадцать лет Олегер томился мыслью, что в руках у него ключ к свободе, но сумел сохранить тайну до тех пор, пока не придет наилучшее время для побега. Да, именно на крышу. Туда, где их никто не ждет.

– Я не пролезу через дымоход.

– Посиди пару дней впроголодь, и пролезешь. Я-то точно пролезу.

– Даже добравшись до крыши… там шею сломать можно.

– Запросто. Зато на крыше нет караульных.

Седобородый солдат, жующий веточку тимьяна, издалека поглядывал на них с такой кислой миной, что казалось, их слова до него доносятся. Выслушав все до конца, Тонет набрал в легкие побольше воздуха, положил руку Олегеру на плечо и прошептал:

– Ничего не выйдет. – Он помолчал немного и добавил, покосившись на солдата, не спускавшего с них глаз: – Но я в деле. При одном условии.

– Каком таком условии.

– С нами пойдет Фанер.

Этого следовало ожидать. Тонет и Фанер были неразлучны. Они были не разлей вода, но, задумав бежать вместе с Тонетом, Олегер и думать забыл об этом. Он перебрал в голове все то, что им предстоит, воображая теперь, что они с Тонетом и Фанером, еще более тощим и юрким, втроем.

– По рукам, Тонет, – через некоторое время вздохнул он. – Возьмем и Фанера, если он не против переломать себе ноги. – Потом устало улыбнулся и добавил: – Но если проболтается, убью.

Так они и порешили бежать через две недели, когда снова будет новолуние. Считаные дни, остававшиеся ему до побега из тюрьмы, Олегер просидел, прислонившись к стене камеры, заложив руки за голову и думая о Вене, ставшей ему почти роднее Барселоны. Когда король Карлос отказался от трона, он перевез в Вену часть своих барселонских придворных и немало генералов и офицеров, бывших сторонниками австрийского дома. По особому желанию королевы в Вену вызвали и мастера Николау Салтора. Олегеру недавно исполнилось девятнадцать, родителей уже не было в живых, и в каждом взгляде его горело желание увидеть мир. Недолго думая, он последовал в качестве помощника за своим учителем в венское изгнание, поданное тому на золотом блюде, чтобы служить королю, который звался теперь императором и уже не Карлосом Третьим, а Карлом Шестым.

Тогда, да, именно тогда, когда Олегер вел счет своим по-

следним дням в заключении, сидя у стены и обхватив руками затылок, думая о Вене, о Селии, о Сау, о смерти Марии, о страшном известии о Пере, которое прошептало ему сердце, треклятого Роденеса сменили. Несколько дней они провели в страхе, молясь, чтобы в тюрьме не изменились порядки, чтобы все оставалось так же ужасно, как раньше, и чтобы у них не отняли возможность бежать. А если ноги будут целы, то за лесом он упросит проезжего погонщика довезти его до Вика[10] и, как только доедет до места, пойдет прямо к дому, чтобы посмотреть, по-прежнему ли там живет Селия. Или в нем поселились новые жильцы, у которых можно будет разузнать, куда она переехала. Он поглядит ей в глаза и скажет, не волнуйся, доченька, родная, я ухожу, я не хочу быть для тебя обузой… Но отчего же за двенадцать лет ты мне ни разу не написала, ни единого разу? Письма твои наполнили бы мою жизнь надеждой. Я бы держал в руках листы бумаги, и мне бы не было так больно жить. Когда каркас органа в августинском монастыре внезапно развалился, погребя под обломками двух монахов, и приставы явились с ордером на мой арест, я видел, милая моя красавица, как твои глазки, две жемчужинки, все слезы держали внутри, чтобы я меньше страдал, а у меня только и хватило времени сказать тебе, беги к Бертране, там приютят тебя и обогреют, а через несколько дней я вернусь. Но так вышло, что один из погибших мо-

[10] *Вик* – город в Каталонии, центр комарки Осона. От Вика до городка Виланова-де-Сау около 10 км по прямой (или 21 км по шоссейной дороге).

нахов оказался генерал-приором ордена и приходился кем-то вроде двоюродного брата одному из министров Безумного короля, который все устроил так, чтобы по высочайшему велению несколько дней обернулись долгими годами тюрьмы. А я принялся писать тебе, милая моя, не обижают ли тебя там, у Бертраны, как ты, что ты, я скоро вернусь. А от тебя ни слова. Но так как сердце у меня в груди не екало, я писал тебе письмо за письмом.

Дело в том, что как-то раз Массип сказал ему, не приведи Господь, конечно, но, может быть, она не пишет потому, что умерла. А Олегер снисходительно улыбнулся и ответил, ишь, чего придумал; нет, я бы догадался. Ведь я почувствовал, что умерла моя Мария, а смерть жены его застигла далеко от дома, за продлившейся два месяца реконструкцией поврежденного сыростью органа, который он сам когда-то смастерил для кафедрального собора Манрезы[11]. Углубившись в настройку труб, расположенных с правой стороны от алтаря, все еще неодобрительно морщась, он вдруг заметил, что сердце как-то странно екнуло: потом ему сказали, что затрепетало оно тогда же, когда сердце его Марии неожиданно, без всякого предупреждения, перестало биться. А когда Пере попал под колеса той злополучной телеги, он, Олегер, шел пешком из Пратса в Мойя[12] с отличным заказом на починку

---

[11] *Манреза* (или Манреса) – город в Каталонии, в провинции Барселона. От Вика до Манрезы около 50 км.

[12] *Пратс-де-Льюсанес* и *Мойя* – города в Каталонии, в провинции Барселона.

трех фисгармоний, и снова сердце екнуло в груди. Ему стало так больно, что он развернулся, не выполнив заказа, и направился домой, где ему подтвердили, что предчувствие его не обмануло и его первенца уже нет в живых. А в этот раз сердце все время бьется ровно, Массип. Я знаю, моя Селия жива, только ума не приложу, отчего она мне не пишет.

Роденеса сменили, и на его место поставили долговязого, сухого и молчаливого субъекта, у которого свеча горела далеко за полночь, и в первые дни надзиратели все время переглядывались, чтобы понять, где возможны какие-то послабления и какие непредвиденные затруднения им может создать новый начальник.

На койке, в темноте, Олегеру никак не удавалось выбросить Селию из головы, и, чтобы сосредоточиться на чем-нибудь другом, он вспоминал Вену, два года, проведенные в Шенбрунне, где еще продолжались строительные работы[13], сооружение великолепного органа в императорской часовне, предпоследнего органа из тех, что успел построить и увенчать своим именем мастер Салтор, которого вскоре после того унесла лихорадка. Император остался так доволен работой мастера Салтора, что дал ему высочайшее позволе-

[13] Шенбрунн, приобретенный в 1728 году императором Священной Римской империи Карлом VI, перестраивался много раз. В начале XVIII века замок, разрушенный в конце XVII турками, начал по приказу императора Леопольда I отстраиваться по образцу Версальского дворца. Большая часть работ была доведена до конца к 1713 году, однако полностью строительство завершено не было. Более ранние упоминания о замке восходят к XIV веку.

ние объехать всю империю, все немецкие земли, и осмотреть на своем пути все органы. Целый год они провели в пути, не переставая слушать, играть, запоминать, сравнивать разные инструменты и проникать в самые что ни на есть сокровенные тайны мастерства, чтобы когда-нибудь построить орган, являющий собой немыслимое совершенство. В семнадцатом году, когда Олегеру было двадцать два, мастер Николау приступил к работе над заказом в Марклеберге[14] и оборудовал себе временную мастерскую на зеленом берегу реки Плайсе[15]. С непривычной быстротой он соорудил орган-позитив: совсем небольшой передвижной орган ангельского звучания, задуманный для деревенской лютеранской церкви. Олегер знал, что это лучшая работа его учителя. А учитель был счастлив завещать частичку своего таланта деревне необычайной красоты, затерянной в саксонской глуши. Он заказал железную табличку с надписью «Saltorius barcinonensis me fecit, anno 1718»[16], облегченно вздохнул и умер.

За неделю Олегер смог удостовериться, что план побега все еще можно привести в исполнение. И сказал об этом двум своим сообщникам, которые покамест тайком с большим трудом пытались свить ужасно ненадежную веревку из выдернутых из матрасов стеблей соломы. Они договорились,

---

[14] *Марклеберг* – город в Саксонии, в настоящее время пригород Лейпцига.

[15] *Плайсе* – река в Германии, протекающая по Саксонии и Тюрингии.

[16] «Салтор Барселонский сделал меня в 1718 году» *(лат.)*.

что устроят побег в пятницу, семнадцатого числа, в день новолуния, даже если разразится гроза. Одного ему не удалось предвидеть: новый начальник тюрьмы работал не покладая рук.

Пришел долгожданный день, настала и ночь. С бешено колотящимся сердцем они стали ждать, когда остальные сокамерники крепко уснут и слабый свет надзирательского фонаря скроется вдалеке, чтобы можно было вздохнуть свободно и достать из тайника ключ. Их товарищи по несчастью, один за другим, начинали безмятежно похрапывать, но фонарь надзирателя, вместо того чтобы раствориться вдали, как положено, как происходило всегда, тысячу ночей подряд, светил все ярче и ярче. Застыв от ужаса, они услышали, что кто-то отпирает дверь их камеры. Коридорный надзиратель, злобный тип с изъеденными кариесом черными зубами, указал на Олегера и пробурчал, эй, ты, живо. И немилосердно ухмыльнулся, обнажая жуткие челюсти. У сообщников душа ушла в пятки, а Олегеру камнем легла на сердце тоска. Непонятно было, как им стало известно о готовящемся побеге. Узник негодующе покосился на своих напарников, но взгляд его остался незамеченным, так они были напуганы. Смирившись со своей участью, он поплелся за надзирателем и подумал, Селия, никогда не суждено мне больше видеть твои глазки-жемчужинки. Ах, если бы ты хоть раз мне написала… Как молния, пронеслось перед ним воспоминание о похоронах мастера Салтора и о том, как он решил довести до кон-

ца все заказы, которые оставались у учителя в Марклеберге, и он почувствовал, как одиноко человеку, когда ему некуда податься, потому что родителей уже нет в живых, учителя тоже, а тебе самому приходится решать, на что соглашаться, на что нет, налево идти или направо, удариться головой об стену, чтобы наконец перестать мучиться, или плестись за надзирателем по длинному коридору туда, где расположены комнаты начальника тюрьмы.

Новый начальник стоял посреди своего кабинета, уставившись во тьму, едва различимую за грязными оконными стеклами, и, по всей видимости, стремился распознать маршрут побега. Светильник, огонь которого был виден им из камеры, горел и недурно освещал комнату. На столе лежала кипа бумаг. Новый начальник сел на свое место, а Олегер, повинуясь его резкому кивку, отошел в другой угол и замер в ожидании пытки или смертного приговора за попытку к бегству из тюрьмы его величества Безумного короля дона Фернандо.

– Ты просидел в этой тюрьме двенадцать лет.

– Да, ваша честь.

– Дольше всех остальных.

– Да, ваша честь.

Начальник тюрьмы взял несколько бумаг из стопки и стал рассматривать одну из них, словно забыл о его присутствии. Это дало Олегеру время поразмыслить, и, чтобы поменьше бояться, он принялся думать об уютной мастерской в Марклеберге и о своем первом органе, не очень большого разме-

ра, который он, пользуясь авторитетом славного Салтора, построил для частного пользования по заказу школы Святого Фомы, расположенной в густонаселенном городе Лейпциге, неподалеку от Марклеберга. А потом на него накатила тоска, не по Барселоне, где он вырос, а по более дальним и неясно помнимым краям, по родному Сау, и он не успокоился, пока не продал мастерскую за хорошую цену, не сделал солидный крюк, чтобы не заезжать в Вену, и не вернулся в пустынные и тихие горы Сау, где предался своим мыслям и встретил Марию, уготовленную ему всегда таящейся за ближайшим деревом, никогда не действующей напрямую судьбой. Когда он обосновался как органных дел мастер в Вике, Мария уже ждала первенца. Селия родилась только три года спустя, когда он уже соорудил великолепные органы для университета Серверы[17] и для кафедрального собора Манрезы. А теперь ему предстояло проститься с ней навеки, Селия, душенька моя, единственное родное существо, которое теперь останется в живых из всей моей семьи, потому что и за побег, и за попытку к бегству положено одно и то же наказание – казнь через повешение.

Начальник тюрьмы тоже ушел в себя, увлеченный чтени-

[17] *Сервера* – город в Каталонии, в провинции Льейда. Университет Серверы был основан в начале XVIII века (строительство здания университета было начато в 1717 году и закончено в 1742 году) и просуществовал до 1842 года. В настоящее время в здании университета Серверы расположена средняя школа, профессионально-техническое училище, областной архив и деканат заочного отделения одного из каталонских университетов.

ем каких-то бумаг. Как будто забыл, что к нему привели узника, который ожидает заслуженной кары. Затем внезапно сложил один из этих листов, очень аккуратно сложил, потом поднял голову и впервые взглянул Олегеру в глаза:

– Тебе приходили когда-нибудь письма?

– Никогда.

– Кто такая Селия Гуалтер?

– Моя дочь.

Тут начальник тюрьмы обхватил руками кипу бумаг, лежащую на столе, и пододвинул ее к заключенному.

– Все это – письма от твоей дочери. В них много интересного.

У него подкосились ноги, наконец-то, пришел мой час, Селия, родненькая, сколько писем сразу, не может быть. Все они были распечатаны. Начальник объяснил ему, что Селия писала ему регулярно, раз в месяц, и обо всем подробно рассказывала, даже о рождении внуков.

– Внуков?

– Ты ничего о них не знаешь?

Движением руки он дал понять, что весь этот ворох писем можно забрать с собой. Узник не знал, лишиться ему чувств прямо на месте или дождаться возвращения в камеру. Начальник продолжал почти извиняющимся тоном:

– Не знаю, почему их тебе не передавали, но она пишет тебе уже много лет. – Потом не сдержался и добавил: – Мне кажется, я теперь лучше знаю твою дочь, чем ты сам.

Тут он кивком указал ему, что пора назад в вонючую камеру, к крысам и тараканам. А письма можно взять с собой. Олегер вернулся почти обессиленный, крепко держа в руках свое сокровище. Чувств он лишаться не стал. По-видимому, долговязый и сухой начальник приказал надзирателю поставить у дверей камеры лампаду, чтобы заключенный мог прочитать некоторые из дорогих его сердцу посланий еще до зари. Войдя, он сел на койку, с силой сжимая в объятиях солидный ворох писем.

– Что они с тобой сделали? – прошептал Фанер.

Но отвечать у него не было сил. Слишком многое переполняло душу.

– Тебя про нас спросили? – волновался Тонет.

Тут он их наконец заметил. Как же ему хотелось, чтобы его оставили в покое, чтобы дали побыть наедине с Селией, девочка моя, а я-то жаловался Массипу, что ты мне не пишешь. А Массипа, бедняги, вон уже сколько лет как нет в живых.

При тусклом свете светильника, который, чертыхаясь, оставил ему беззубый тюремщик, ему удалось прочесть первое письмо, где она писала, папенька, как вы поживаете? Скажите мне, чем мы вам можем помочь, сноха Бертраны мне сказала, что брат одного ее знакомого служит в какой-то компании и попытается помочь нам, чем сумеет. Папенька, я так без вас тоскую, писала Селия; но больше ничего он разобрать не смог, потому что глаза заливались слезами и милые

буквы исчезали бесследно, а Фанер и Тонет, наклонившись к нему, испуганно шептали: да что с тобой такое, будь ты проклят?! Это что, смертный приговор? А он качал головой, плакал и не мог поверить, что дочь написала ему столько писем. Внуки. У него есть внуки. И он снова разрыдался. Тонет и Фанер растерянно переглянулись. Через минуту злой надзиратель вернулся и потушил светильник; в темноте они притихли.

– Скоро полночь, – заметил Тонет, когда прошла уже вечность.

Олегер не ответил. Он прижимал к себе ворох писем и думал, доченька, глазки твои жемчужинки, и не было ничего важнее.

– Уже полночь, – снова повторил Тонет через несколько минут. И оживился. – Пора.

– Я не пойду.

– Ты чего?

Во тьме Олегер передал ему ключ, который хранил двенадцать лет.

– Не пойду, сказал.

– Но ты же… – недоверчиво начал Тонет. – Да как же! – не укладывалось у него в голове. – Ты же столько лет просидел. – И уже в отчаянии: – Почему не пойдешь? Почему?

– Потому что я должен прочесть письма дочери. Когда-нибудь в другой раз убегу.

– Послушай… Если побег удастся, ты ее увидишь…

– Столько лет я ждал этой минуты… – пробормотал он себе под нос, так тихо, что друзья толком его не расслышали. И чуть повысил голос: – Письма нельзя не прочесть. Ступайте без меня.

– Но это же твой план. Если мы приведем его в исполнение, ты уже никогда не сможешь им воспользоваться…

– Ребята, я занят. В другой раз подумаю. – И с ноткой нетерпения в голосе: – Прощайте, бог в помощь.

Те двое печально переглянулись. Тонет пожал плечами и сказал, пошли, Фанер. И как-то даже злобно ткнул пальцем в распростертого на койке человека, прижимающего к сердцу бумажки: у тебя от сырости мозги заржавели.

– Не теряйте времени, – ответил тот, мечтая остаться в одиночестве.

Сообщники повернули в замке заветный ключ и крадучись проследовали до конца коридора, к двери, ведущей на чердак. Когда шорох их осторожных шагов затих, Олегер устроился на койке поудобнее, подложив под голову дочкины письма вместо подушки. Впервые за двенадцать лет в ту ночь он уснул сладким сном.

Пара минут

Она с довольным видом выпустила дым. Ну вот, все шито-крыто. Изменить мужу оказалось проще простого: пара минут, раз-два – и ты неверная жена. Похоже, что карающие ангелы не собираются спускаться с неба, трубя в медные трубы. А фигура у этого полузнакомого парня как с картинки, сразу видно, что пьет один кефир.

– А почему у тебя пуза нет? – спросила она фамильярно, пользуясь тем, что познакомилась с ним поближе.

– Так я спортсмен. А ты бы не курила.

Спортом занимается. Заботится о себе. Не то что я или мой Рикард, приходит время, распустишься, и некогда красоту наводить, когда твоя вторая половинка тобой уже не интересуется.

– Я пошел.

– Подожди пару минут. Я тебе нравлюсь?

– А как же, – соврал любитель кефира.

Первый в жизни адюльтер доставил ей эпохальное наслаждение; а Неус-то ей пела, что если она и отважится, то больше в этом страха, чем удовольствия: не застанет ли ее Рикард, не будет ли это страшным грехом, как бы чего не стряслось, вот выйду на улицу, и все заметят, чем я тут занималась, обо всем этом Неус предупреждала, а про кайф – ни слова. А смотри, оргазм-то был мощнейший, и не с кем-ни-

будь, а с мастером по ремонту стиральных машин, с очень милым спортсменом, полным силы, как бык. Да и чего ей бояться? Ничего она Рикарду не должна, любить они друг друга не любят, нет… А вдруг он именно сегодня решит вернуться домой пораньше? Нет-нет, такого за двенадцать лет ни разу не случалось.

– Знаешь что? Лучше ступай.

Парень покорно встал, не торопясь, чувствуя, что распалившаяся жарче, чем лучина в печке, женщина пожирает его глазами, и подумал, бедная, но, впрочем, потрахаться перед обедом всегда приятно, потрепал ее по щеке, чтобы дать время получше на него насмотреться, и стал одеваться.

– Это тебе, – сказала она.

К оплате по квитанции за ремонт стиральной машины прилагались колоссально щедрые чаевые. Парень поразмыслил, а может, кинуть их ей в лицо, но в конце концов решил сделать вид, что ничего не заметил, и сунул деньги в карман. Свожу Кэтти поужинать.

– Как тебя звать? – окликнула она, еще лежа в кровати, взволнованно кроша только что зажженную сигарету о пепельницу, тая от восторга, подавляя желание закричать, хочу, чтобы ты ежедневно устранял у меня неполадки в бытовой технике. Вместо ответа он поцеловал себе указательный палец и улыбнулся, повторяя жест модели Синди Кроуфорд, виденный им когда-то на обложке американского журнала. Выдерживая характер, направился к двери, не оглядываясь.

Взял ящик с инструментами, молясь всем богам, чтобы никто не вошел и не поставил его в неловкое положение. Почти бесшумно закрыл дверь и на несколько мгновений задумался о времени, проведенном в чужой постели с незнакомой женщиной. Ему не было ее жалко. Но он и не сожалел о содеянном, а напротив, прикинул, не стоит ли ради таких денег поменять профессию и заделаться профессиональным альфонсом, но со смущенной улыбочкой отмел этот вариант. Выйдя на улицу, он достал сигарету, с наслаждением затянулся – ему уже давно хотелось покурить, – вспомнил, где припарковал фургон, и просмотрел адреса клиентов, чтобы решить, по какому маршруту лучше следовать, чтобы наверстать потерянное время. Когда стал переходить дорогу, бесшумно подъехал лимузин. Вот это тачка, подумал он. За рулем нескончаемого автомобиля сидел чрезвычайно напыщенный водитель в серой ливрее и с видом весьма недружелюбным; а в нескольких метрах от него, но в той же самой машине находилась неотразимая женщина, темнокожая, такая же темнокожая, как Наоми Кэмпбелл; кандидат в альфонсы подумал, что к этой-то даме он бы с удовольствием наведывался на дом осуществлять любого рода техобслуживание.

Злобному шоферу пришлось снизить скорость, потому что некий тип с сигаретой в зубах и ящиком для инструментов в руке стоит на проезжей части, разинув рот и уставившись на его пассажирку.

– Куда прешь, сука? Ослеп, что ли? – раздраженно прошипел шофер. И быстро поглядел в зеркало заднего вида на царицу Савскую, чтобы удостовериться, что до ее слуха не донеслись ругательства. Нет, царица была погружена в свои мысли. А может быть, и нет, потому что подняла голову и, не повышая голоса, хотя сидела от него в отдалении, с неколебимой уверенностью, которую придавали ей богатство и красота, приказала ему проехать еще двести метров, остановиться на углу ювелирного и подождать ее там.

– Здесь стоянка запрещена, – предупредил он, неодобрительно поглядывая на окутанную облаком дыма, как нимбом, фигуру типа с сигаретой, крошечную в зеркале заднего вида; тип все еще глазел на них с раскрытым ртом, то есть глазел на лимузин или на сеньориту Бланку; шофера никто никогда не замечал.

– Разберешься; я на пару минут.

За пару минут царице Савской предстояло зайти в ювелирный, лучезарно улыбнуться, отмахнуться от трех продавцов, срочно вызвать из кабинета сеньора Лапорте, сообщить ему, что недавно приобрела «Вузию» в сто два и три десятых карата, добавить, что принесла ему фотографию бриллианта (я уверена, что и «Вузия», и «Иезекииль» вам небезызвестны, сеньор Лапорте), чтобы он начинал работать над дизайном золотой подвески, которая послужила бы достойным обрамлением для этого чуда природы и изысканного свидетельства тонкого вкуса и блестящего профессионализма

огранщика, и пообещать, что на днях зайдет еще раз, чтобы все спокойно обговорить. И еще секунд двадцать лишних осталось бы.

Поскольку другого выбора у него не было, водитель оставил при себе свое мнение о хозяйкином обещании насчет двух минут. Подъехав к ювелирному, он осторожно затормозил.

– Пару минут, – повторила сеньорита Бланка, выходя из машины.

Шофер решил припарковаться во втором ряду, поскольку встраивать этот автомобиль, длинный, как сосиска, туда, где еще оставалось свободное место, было небезопасно. Он вышел из машины и начал судорожно шарить по карманам ливреи в поисках сигарет. Чуть ли не страстно затянулся, глотая дым, бесконечные клубы дыма, через дырку сломанного зуба, и ему заметно полегчало; тут он по привычке взглянул на часы, чтобы понять, сколько еще продлится та пара минут, по истечении которых сеньорита Бланка выйдет из магазина.

– Хватит раздумывать: проезжайте.

Водитель обернулся и увидел, что к нему направляется сотрудница инспекции, решающей, где людям парковаться.

– Я на пару минут, – сказал он, выпуская струю дыма.

Ничто на свете ее так не раздражало, как прихвостни миллионеров, которые встают на защиту хозяев, будто те им родня. Да еще в такой день, как сегодня, когда возле зда-

ния Фонда культуры полным ходом идет разгрузка картин с огромного норвежского грузовика, а вокруг толчется армия охранников с пистолетами, как у нее, но без морального авторитета, данного ей муниципальными властями. Она цокнула языком и повторила тем же самым тоном, чтобы было заметно, что повторять ей уже осточертело:

– Хватит раздумывать. Здесь стоянка запрещена.

– А что же мне делать? В карман лимузин засунуть?

– Это ваши проблемы. Или выпишу штраф. Как хотите.

– А грузовик что тут делает? А?

– Разгружает.

Она видела, что лакей раздумывает, упоенно присосавшись к сигарете, и, словно в поисках выхода, поглядывает на часы.

– Если сеньорита выйдет и увидит, что я уехал, мне несдобровать.

– Я же сказала, это ваши проблемы, – брезгливо поморщилась она. – Поищите парковку.

– На какую парковку меня пустят с этой зверюгой? – Он указал на лимузин, как рыбак, гордый солидным уловом. – Честно, всего пару минут.

Чтобы унять растущее раздражение, она вытащила книжечку со штрафами и приготовилась действовать.

– Ну что ж, начнем.

И направилась к капоту, чтобы записать номер. Шофер с еще более недовольным видом бросил до половины выку-

ренную сигарету на тротуар и сел в машину. Не спуская глаз с номера машины, инспектор услышала, как он в бешенстве хлопнул дверью. Смотри-ка, внял голосу разума, подумала она. Потом отошла, чтобы не попасть под колеса, и сделала вид, что занимается другими делами. Пока женщина глядела вслед удаляющемуся лимузину, до нее донесся запах дыма от догоравшей на тротуаре недокуренной сигареты. Инспектор отошла к подъезду, огляделась по сторонам, удостоверилась, что на охранников, толпившихся вокруг норвежского грузовика, не собираются напасть ни мафиози, ни налетчики, ни барыги с черного рынка произведений искусства, и решила, что бояться нечего. А потому со знанием дела прикурила и затянулась, немедленно пряча за спину орудие преступления. Передохну пару минут. И только успела сделать несколько затяжек, как из ювелирного магазина напротив вышла ослепительной красоты мулатка и принялась сердито глядеть на дорогу. Инспектору показалось, что красавица ждет такси. А мне какое дело, решила она. И продолжала из-под полы курить сигарету, рассуждая про себя, что Карлес с каждым днем все больше от тебя отдаляется, а представляешь, если вдруг… Не может быть, ведь говорят, что жена сразу замечает признаки супружеской измены, а я ничего подобного не вижу. И все же сама мысль об этом ее разозлила. Тут она заметила синюю машину. Вы поглядите, какое нахальство, встал прямо под знаком и весь проезд загородил. Тушить недокуренную сигарету, конечно, жалко,

но штраф этому типу обеспечен.

– Твою ж мать, – выругался тот на бегу, видя, что какая-то тетка вешает ему штраф на лобовое стекло. И подбежал к ней, тяжело дыша. – Я ведь всего на пару минут остановился! – сердито заорал он.

– Все тут на пару минут паркуются, – ледяным тоном отвечала женщина. – Вы перекрыли проезд.

– Да бляха-муха, да ведь я…

– Послушайте, это ваша проблема. Я действую в соответствии с регламентом.

Тут он взбесился: пришла и говорит, ты сам виноват, что все утро мечешься как белка в колесе, за два часа в тринадцать мест успел, кучу денег оставил на парковках, на одну секунду встал под знак, напал на болтливого заказчика, и на тебе, штраф. Сука.

– Смотрите, что с ней сейчас будет, с вашей проблемой, – вскричал гражданин на грани сердечного приступа, выхватывая у нее штраф. Инспектор стояла рядом и терпеливо ждала, пока человек отведет душу. Так он и сделал: одной рукой смял штраф и швырнул его на землю. Те же манеры, что и у Карлеса. Точь-в-точь. И он ушам своим не поверил, когда инспектор с улыбкой заявила:

– Дело ваше: а я пока вам выпишу еще один штраф за то, что вы сорите на улице.

Вот это, мать твою, было уже слишком. Он сел в машину и, даже не отдавая себе в этом отчета, не хлопнул дверью,

чтобы эта стерва не подала на него в суд за нарушение тишины в каких-нибудь трехстах метрах от больницы. Потом завел мотор, уже не думая о том, подняла она штраф с дороги и расправляет ладонью или целится ему в затылок из пистолета, бляха-муха. Чуть не въехал в лимузин, расположившийся теперь перед ним, во втором ряду. Сверкнул поворотником, рванул на середину дороги и давай повторять, сука, сука, сука. Вдобавок ему пришлось сбавить скорость из-за того, что там расположился здоровенный грузовик, все перегородил, как будто… Вот что меня доводит, если уж штрафовать, так почему она грузовик этот не оштрафует? Чертыхаясь себе под нос, он остановился на светофоре на красный. И, вне себя от злобы на все на свете, ударил кулаком по рулю, и гудок зазвучал насмешливо, гулко, хоть сейчас в суд подавай.

Со зрением у нее все было в порядке, и зубы почти все свои, и ноги ходили будь здоров, но бегать по пешеходным переходам она отнюдь не собиралась. А потому подумала, погуди, погуди, я-то никуда не тороплюсь. И вызывающе поглядела на взвинченного человека за рулем синей машины, который высунул руку из окна и нервно постукивал по кузову, другой рукой поднося зажигалку к сигарете. Это он ей гудел, как будто она не видит, что для пешеходов все еще горит зеленый. Поспешишь – людей насмешишь.

Старушка тут же выбросила этого нахала из головы и принялась глазеть на витрины: самое любимое ее занятие всякий раз, как она возвращалась домой этой дорогой. Ах, какое

платьице. Была бы я помоложе. Все-таки хочется спросить, сколько оно стоит, но как-то неловко. Скажу им, что хочу его племяннице купить. Хотя какое им, в сущности, дело? По дороге она заметила, как инспектор дорожного движения остановилась перед машиной и что-то пишет, и решила, наверное, штраф выписывает. Быть бы мне помоложе, давно бы сдала на права, подумала она. И пошла дальше; ей хотелось поскорее прийти домой: она никогда не курила посреди улицы, считая, что в таком возрасте это неприлично. И снова засмотрелась на какое-то платьице. Нет, такое бы я не надела, если бы даже была помоложе. Сплошные мини-юбки теперь. Хотя платье-то красивое, ничего не скажешь. Она подняла голову и застыла: в витрине высилось отражение чернобородого мужчины, который низким голосом напевал себе под нос мелодию из хора рабов в опере «Набукко»[18]. Напугалась бабушка, подумало отражение. И он тут же забыл про старушку, которая продолжала путь, перебирая в голове свои неясные мечты, и сосредоточился на витрине. Эротичная женская одежда. Это зеленое платье жене бы не подошло: у нее слишком широкая талия. С некоторой горечью он поправил себя: у нее талия с каждым днем все шире. А вот Сильвии бы подошло. Сильвии все к лицу. Он поднапрягся и разглядел цену. Черт. Черт. Не похоже, что он может себе такое позволить, не возбуждая подозрений супруги.

[18] «Va, pensiero» – хор рабов-иудеев из третьего акта оперы «Набукко» (1842) Джузеппе Верди, наиболее известный музыкальный фрагмент этой оперы.

Смирившись со своей участью, он отошел от витрины. И разозлился, что какие-то охранники в форме не дают ему пройти по тротуару, потому что в это самое время тут остановился грузовик, из которого носильщики выгружают деревянные ящики для перевозки предметов искусства. Картины привезли, подумал он. В Фонд культуры их несут. Ему стало досадно, что приходится идти по дороге из-за того, что у них тут разгрузка. Не пропустить бы эту выставку. Не пропустить бы много чего интересного, ведь даже встречи с Сильвией понемногу начинали покрываться налетом скуки. И он тихим-тихим баритоном принялся напевать какую-то песню из «Winterreise»[19], в которой говорилось «Eine Strasse muss ich gehen, Die noch keiner ging zurück»[20], и ему взгрустнулось. Прямо перед ним бесшумно и стремительно начал свой путь в никуда величественный лимузин, чтобы через тридцать метров остановиться на светофоре. За несколько шагов до подъезда бородатый баритон достал из кармана связку ключей и на автомате, уверенными движениями стал выбирать нужный ключ. Поднимаясь по лестнице, он насвистывал предназначенную для этого мелодию (адажио из «Аме-

---

[19] «Зимнего пути» *(нем.)*.

[20] «В край, откуда нет возврата, суждено уйти и мне» *(нем.)* – строки из стихотворения Вильгельма Мюллера «Путевой столб» из цикла «Зимний путь»; на стихи этого цикла, изменив лишь их последовательность, Франц Шуберт написал вокальный цикл «Зимний путь». За исключением специально оговоренных случаев, стихи Мюллера цитируются в переводе Сергея Заяицкого.

риканского» квартета Дворжака)[21], как делал каждый день и каждый год. Как всегда по четвергам, из духовки доносился аромат запеченного риса, и он подумал, какое счастье, что жена так хорошо готовит, уж этого у нее не отнимешь.

– Привет, – донеслось до него с другого конца квартиры. – Ты чего сегодня вернулся так рано?

– Да так… – И, проходя по коридору: – Что, починили нашу стиральную машину?

[21] Струнный квартет № 12 Фа мажор «Американский», соч. 96, B. 179 – струнный квартет знаменитого чешского композитора Антонина Дворжака (1841–1904), написанный в июне 1893 года. На Дворжака, более позднего представителя романтизма, творчество Шуберта оказало значительное влияние.

Пыль

Корешок нераскрытой книги, стоящей на полке, пытается заговорить с той же отчаянной беспомощностью, с какой мычит узник, которому разбойники завязали глаза и вставили в рот кляп.
***Гастон Лафорг*[22]**

Ей часто приходил в голову вопрос, сколько тысяч книг в этом доме. Однако переступала его порог она с таким благоговейным ужасом, что даже вздохнуть боялась, и так старалась не допустить ни малейшей ошибки, чтобы не потерять работу, что не решалась спросить об этом сеньора Адриа. И делала все то, что ей было велено: по понедельникам, средам и пятницам заполняла карточки своим красивым почерком. А по вторникам и четвергам стирала пыль, потому что слой пыли на книге – признак постыдной небрежности и низости. Сперва она взялась обтирать их мокрой тряпочкой, но их корешки, почерневшие за долгие годы забвения, от влажности превращались в темную кашицу, что ухудшало положение вещей. Тогда Тере посоветовала, что лучше всего

[22] Как следует далее из текста, а также из первого рассказа в настоящем сборнике («Посмертный опус»), Гастон Лафорг – автор биографии Шуберта *Voyage d'hiver* («Зимний путь»), изданной в Лионе в 1902 году. Имя Гастона Лафорга также упоминается в других произведениях Кабре, в частности в романе «Тень евнуха».

пользоваться пылесосом, а если нет такой возможности, то традиционной перьевой метелкой. Ей пришлось прибегнуть к традиционному способу, потому что спрашивать у сеньора Адриа, не найдется ли у него в хозяйстве пылесоса, ей не хватило духу. А на книгах, которые она сейчас обмахивала этой метелочкой, лежал толстенный слой пыли, от которого Виктории хотелось избавиться, не дожидаясь, пока он сам его заметит.

Сеньор Адриа был для нее загадкой. По всей вероятности, человек богатый; без всякого сомнения, одинокий. Он никогда не выходил из дома, вообще никогда, и все время читал, перебирал руками книги, заполнял карточки или рассматривал их; или же с нескрываемым удовольствием распаковывал посылки с новыми приобретениями – в большинстве своем потертыми, старыми, иногда очень старинными книгами. Книги его с ума сводили. Тони был помешан на сексе, а сеньор Адриа был помешан на книгах. Сегодня ей предстояло смахивать пыль, а значит, к вечеру она будет валиться с ног от усталости, с пересохшим горлом и носом, со вкусом пыли во рту, ведь в этом доме книжных полок видимо-невидимо, и пыли на них великое множество.

Она почувствовала, как за ее спиной он перелистывает страницы книги, стоящей на пюпитре, и подумала, что нельзя так жить: человек должен двигаться, дышать свежим воздухом, беседовать с друзьями, хотя бы сходить полакомиться чем-нибудь вкусненьким. А ему это не нужно.

Виктория спустилась со стремянки, на которую пришлось взгромоздиться, чтобы уделить внимание *ВОСТОЧНОЙ ПОЭЗИИ*. Краем глаза она заметила, если, конечно, не ошиблась, что сеньор Адриа за ней наблюдает. Но когда попыталась в этом удостовериться, убедилась, что он с головой погружен в книгу.

В первый день, когда он отворил ей дверь с привычным равнодушием, которое испытывал ко всему на свете, кроме книг, он спросил, сколько ей лет. Виктория ответила, что двадцать, и подумала, что ему она не подходит, потому что слишком молода; а работа ей была нужна, потому что они с Тони собирались пожениться следующей осенью. Оказалось, возраст не имел значения; как, впрочем, и отсутствие опыта. Скорее всего, то, что она едва не поступила в институт по специальности библиотечное дело, тоже было ему безразлично. Несомненно, выбор сеньора Адриа пал на нее из-за того, с какой деликатностью эта девушка отнеслась к книге, которую я без предупреждения протянул ей: она взяла ее нежно, почти любовно, так же, как Элиза из «Элизы Грант» Балли (изданной в Питтсбурге в 1833 году) взяла коробочку для рукоделия, получив известие о гибели своего возлюбленного. И по воле случая нам улыбнулось счастье, и оказалось, что пишет она изумительным почерком. Хорошо, что мне пришла в голову мысль найти себе помощницу, сам я не в силах справиться со всем.

Сегодня я надеюсь дочитать *Voyage d'hiver* (изданный

в Лионе в 1902 году). Гастон Лафорг – в известном роде педант и высокопарен, но дал мне возможность добавить в картотеку шесть длинных цитат. В одной из них – изящнейшее размышление о природе искусства. Хотя о жизни Шуберта он знал ничтожно мало. А с завтрашнего дня меня ждет полное собрание сочинений Дарио Лонго (изданное на средства автора в Триесте в 1932 году), готовое порадовать приятными неожиданностями, в чем мне удалось убедиться, когда позавчера я впервые раскрыл его страницы разрезным ножом. Не следовало ей сегодня поручать *ВОСТОЧНУЮ ПОЭЗИЮ*, чтобы она не мешала мне сосредоточиться. Лучше бы попросить ее заняться *СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКИМИ МОРАЛИСТАМИ XVIII–XIX ВВ.,* прошло ровно столько же времени с тех пор, как она в последний раз приводила их в порядок.

Тут Виктории снова пришлось карабкаться по лестнице за тряпочкой, забытой на книгах жанра фу эпохи династии Хань[23], и в близком соседстве от сеньора Адриа оказались ее ягодицы, которые, по его мнению, были чрезвычайно схожи с ягодицами Андромахи, описанными в кембриджском издании, и сочетали в себе изобилие и умеренность. Наконец-то ушла, вздохнул он про себя и углубился в чтение, в то время как Виктория тихонько вышла из читального зала

[23] *Фу* – жанр китайской литературы, сочетающий в себе прозу и поэзию, наибольший расцвет которого пришелся на времена империи Хань (II век до н. э. – II век н. э.).

со своим ведром, тряпками, перьевой метелкой, стремянкой и Андромахиными ягодицами, удостоверившись, что сеньор Адриа все так же увлечен фолиантом о Шуберте, и зашагала по коридору, заставленному книгами, повторяя про себя: как же так, как же так; несколько дней назад он с упоением читал филологический словарь итальянского языка; а перед этим прочел *The Emotions and the Will* Александра Бэна[24] и пару дней ходил как в тумане. Что же это за Бэн, удивлялась она. А мне какое дело, видал я его в гробу в белых тапочках, отвечал Тони, которого раздражало, что Виктория опять заговорила о работе, когда они вместе отдыхали. Он был уверен, что у сеньора Адриа просто с головой нелады, и точка. Виктория помалкивала, уже почти смирившись с тем, что с каждым днем им с Тони все сложнее достичь взаимопонимания. Ведь для того, чтобы Тони стал идеальным мужчиной, ему не хватает такого образования, любви к культуре, скромности и интеллектуальной любознательности, как у сеньора Адриа. Отчего же Тони настолько с ним не схож? На этот вопрос она ответить не умела. А еще ей было непонятно, почему в этом доме не было ни одной книги Магриса, Гарсия Маркеса, Гёте, Педроло, Гордера[25] или Манна. Поче-

---

[24] *«Эмоции и воля» (англ.)* – один из основных трудов Александра Бэна (1818–1903), шотландского философа, психолога и педагога, одного из главных представителей ассоциативной психологии.

[25] *Клаудио Магрис* (р. 1939) – итальянский писатель, журналист, эссеист, исследователь австрийской и немецкой культуры. *Мануэл де Педроло Молина* (1918–1990) – каталонский писатель, автор романов, рассказов и пьес. *Юстейн Гордер*

му сеньор Адриа читает Людвига Тика *(Kaiser Octavianus)*[26], Джузеппе Спаллетти *(Saggio sopra la belleza)*[27] или Жакоба Монфлери *(L'école de jaloux)*?[28] Зачем он коллекционирует цитаты из этих авторов, но ни разу не купил ни единого томика Фолкнера? Как-то раз она наугад записала несколько названий, чтобы узнать, есть ли эти книги в городской библиотеке, но их там отродясь не бывало. Сама Тере, столько лет проработавшая в библиотеке, никогда о них слыхом не слыхивала. Никогда-никогда.

Кроме того, там был еще и чай. Не только книги, но и чай. Каждый день он выпивал шесть или семь кружек. То был зеленый чай, по его словам, напиток, умиротворяющий тело и бодрящий ум. Виктории было неведомо, что сеньор Адриа был любителем растительной пищи – при непременном условии, что его кулинарные предпочтения не мешали чтению. Этого она знать не могла: доступные ей сведения о нем ограничивались тем, что человек он был опрятный, платил исправно, включая дополнительную премиальную зарплату

(р. 1952) – норвежский писатель и публицист, популяризатор философии, автор романа «Мир Софии», а также ряда других романов, рассказов и книг для детей.

[26] *«Цезарь Октавиан» (нем.)* – пьеса 1804 года Людвига Иоганна Тика (1773–1853), немецкого поэта, драматурга, переводчика, одного из ключевых представителей литературы «золотого века» немецкого романтизма.

[27] *«Опыт о красоте» (ит.)* – исследование в области эстетики, анонимно опубликованное в Риме в 1765 году и получившее широкую известность во всей Европе; принадлежало перу аббата Джузеппе Спаллетти.

[28] *«Школа ревнивцев» (фр.)* – пьеса французского комедиографа, современника Мольера Антуан-Жакоба Монфлери (1639–1689), написанная в 1664 году.

на Рождество, никогда не ворчал и редко вступал в разговоры, как будто осознавая, что в его возрасте в запасе остается слишком мало времени, чтобы тратить его впустую. И никогда не выходил из себя. Никогда. Идеальный мужчина, хотя и старше ее на тридцать лет.

Тут идеальный мужчина достал лупу и принялся разглядывать фотографию с эффектом сепии, на которой бесталанный автор биографии в дружеском окружении позировал для потомков возле могилы Шуберта. Сеньор Адриа навел лупу на надпись на постаменте памятника. SEINEM ANDENKEN DER WI…[29] Дочитать ее до конца было невозможно, потому что остаток надписи скрывался за правой ногой самодовольного Лафорга. Сеньору Адриа стало тошно от мысли, что этот человек загородил от него слова, разгадать которые до конца ему не удастся никогда в жизни. Он перелистнул страницу: на следующей иллюстрации с вечным эффектом сепии Лафорг с улыбкой указывал на дом, в котором умер композитор. На улице была слякоть, над головой угадывалось небо свинцово-серого цвета. Сеньор Адриа отложил книгу в сторону и позвал, Виктория, принесешь мне чаю, а Виктория, занятая КНИГАМИ О ПУТЕШЕСТВИЯХ. ЕВРОПА,

---

[29] «ЕГО ПАМЯТИ… ВЕН…» *(нем.)* Речь идет о надгробном памятнике Шуберту на венском Центральном кладбище. Недочитанная сеньором Адриа надпись гласит: Seinem Andenken / Der Wiener Männergesangsverein («Его памяти / Венский мужской хор»); она отчасти повторяет надпись на памятнике Шуберту в венском Городском парке. Эпитафия на этом памятнике гласит: «Музыка похоронила здесь драгоценное достояние, но еще более прекрасные надежды».

откликнулась, иду, сеньор.

– Часами взаперти наедине с мужчиной, – заявил ей както Тони в один из тех дней, когда был особенно невыносим. Виктория обиженно ответила, что сеньор Адриа настоящий джентльмен, и не сочла нужным упомянуть, что по необъяснимой причине он время от времени засматривается на ее ягодицы, поскольку была уверена, что сеньор Адриа так же далек от людских страстишек, как ангел во плоти, и боготворила его за это. Узнай Тони про эти взгляды, он, без сомнения, взбесился бы и отправился к сеньору Адриа выяснять отношения, чего доброго, полез бы драться; сам-то он беззастенчиво глазел на нее с утра до вечера: в глубине души она гордилась тем, что его так к ней тянет, и иногда мечтала о том, чтобы на его месте был сеньор Адриа. Что же у Тони всегда только одно на уме? Почему ему даже в голову не приходит, что можно как-нибудь сесть и прочитать хоть одну книгу? Из книг как таковых у Тони был только телефонный справочник (часть первая и часть вторая). То густо, то пусто, думала Виктория. Ведь кажется, совершенно невозможно вообще никогда ничего не читать. Однако, похоже, для Тони нет ничего невозможного. Кроме того, чтобы внятно объяснить ей, чем он занимается по понедельникам вечером вот уже три недели подряд.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.